

ГРАБ



Дмитрий Краус

18+

Дмитрий Краус

Граб

«Автор»

2026

Краус Д.

Граб / Д. Краус — «Автор», 2026

Мертвые не открывают глаз. Но он открыл. Восемнадцать лет спустя тот, кто выжил с перерезанным горлом, бродит по улицам Паркина — города, где в коридорах склепа существует тайный культ Смерти, а в переулках лучше не знать, что капает с крыш. Верховный жрец Варлам называет его «воплощением лика» и дает ему священный кинжал. Отныне его дело — забирать чужие жизни. Но у дара есть темная сторона: с каждой жертвой в него въедается не только грязь, но и чужие мотивы. Что происходит, когда гончая выходит на охоту? Он ищет того, кто перерезал ему горло. След ведет к тайной сети «Волков», к правителю Аркану и жутким тайнам подземелий. Что оставляет шрамы страшнее ножа? Кто — истинное чудовище, когда падают маски?

© Краус Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Грязный вкус	7
Глава 2. Дар смерти	11
Глава 3. Волки и овцы	17
Глава 4. Ревность	22
Глава 5. Голоса	29
Глава 6. Пустая комната	32
Глава 7. Пуговица	37
Глава 8. Крысиная охота	45
Глава 9. Нутро	51
Глава 10. Чистые руки	57
Глава 11. Пустая колыбель	63
Глава 12. Иней	68
Глава 13. Гончая	73
Глава 14. Кто здесь?	77
Глава 15. Псарня	81
Глава 16. Швы	87
Глава 17. Четыре глаза	91
Глава 18. Старый склад	98
Глава 19. Молчание	103
Глава 20. Вес монеты	107
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Дмитрий Краус

Граб

Пролог

Крысятники звали его Хрип. Второго — Гнилой. Они зашли за таверну справить нужду, и Хрип первым увидел мешок.

— Гляди, — сказал он и ткнул носком сапога в тряпичный бок. Мешок не ответил. — Хороший. Плотный.

Гнилой подошел, присел на корточки. Горло у мешка завязано плотно, в несколько узлов — так вяжут когда торопиться уже некуда, а думать неохота. Он потрогал завязку, потом дернул узел. Мешковина разошлась. Из нее торчала голова. Маленькая, синюшная, с перерезанным горлом — разрез шел поперек горла ровной чертой, будто кто-то не убивал, а чертил. Рот открыт. Глаза закрыты.

— Младенец, — сказал Гнилой.

— Вижу, что не петух. — Хрип обошел мешок кругом, заложил руки за спину, будто прицениваясь к товару на рынке. — Сестры берут?

— Сестры берут все, что с перерезанным горлом. Особенно младенцев.

— Почему именно?

— Культ, что ли. Их дела. Наше дело — нести.

Гнилой завязал мешок обратно — не крепко, лишь бы не болтался — и закинул на плечо. Снизу, от горловины, что-то чуть потекло на куртку. Он не посмотрел.

Они шли через весь Паркин. Мимо кожевенных мастерских, мимо пьяного, спящего у колодца, мимо телеги с рыбой, у которой колесо увязло в грязи и хозяин орал на вола. Город в этот день гудел иначе, не обычно. Не торговыми криками, звонами и пьяными орами — чем-то диким, тревожным, гул перед грозой. Люди стояли группами у стен, переговаривались вполголоса. На площади кто-то уже успел разбить голову соседу камнем из-за мешка зерна. Аркан только что пришел к власти и объявил: берите, пусть каждый возьмет, сколько сможет.

Паркин услышал и взял.

— Тяжелый, — грузно сказал Гнилой. Не жаловался. Сказал как есть.

— Младенцы легкими не бывают. Там кости. Там все такое же, только маленькое.

Кладбище начиналось за последним кварталом, там, на холме, где мостовая кончалась и шла просто утоптанная земля. Ворота стояли открытые — их никто не запирали, потому что в Паркине красть с кладбища было нечего. Гробовщик, тощий мужик с лопатой, уже копал в дальнем углу. Яма была небольшая, как раз. Он работал, молча, выбрасывая комья рыжей глины, и не смотрел на пришедших.

— Принесли? — спросил он, не оглядываясь. — Сколько уже? Восьмое тело за ночь.

— Принесли.

Гнилой снял мешок с плеча. Гробовщик воткнул лопату в землю и подошел. Взял мешок за горлышко, поднял. Встряхнул чуть, проверяя вес — привычка, как у торговца, который щупает товар, не глядя. Опустил в яму. Яма была такая, что мешок лег в нее почти точно, только один бок немного выпирал.

Он взял лопату и поднял первый ком.

Мешок зашевелился.

Не сразу. Сначала тихо — как крыса под брезентом. Потом сильнее. Горловина напряглась. Изнутри толчок, сильный, будто там кто-то перевернулся на другой бок и укладывался поудобнее. Гробовщик стоял с лопатой. Глаза расширились с задержкой: мозг не поспевал за

глазами. А потом сквозь дерюгу прорезался звук. Хриплый, мокрый, будто легкие впервые вбирали воздух.

Грбовщик выронил лопату. Просто ослабла хватка, и она упала. А пальцы остались держать пустой воздух. Он сделал шаг назад. Потом еще один. Потом развернулся и пошел прочь, с каждым шагом ускоряясь. У ворот уже почти бежал. Ворота за ним остались открыты.

Хрип и Гнилой переглянулись.

— Сестры, — сказал наконец Хрип. Голос у него сел, и слово вышло сиплым, будто он сам только что проснулся в мешке. — Это теперь к сестрам.

— К сестрам, — согласился Гнилой.

Они подняли мешок из ямы. Плач внутри не прекращался. Они несли его как вещь, которую уже не понимают — на вытянутых руках, подальше от себя — и шли к склепу, который стоял в дальнем конце кладбища, низкий, серый, врытый в землю по самые окна.

Сестры открыли дверь и долго смотрели на крысятников через порог — молча, без выражения. Смотрели на мусор, принесенный ветром. Может, пригодится. Потом одна из них, та, что была чуть выше остальных, кивнула. Они взяли мешок. Унесли внутрь.

Крысятники ушли. Паркин гудел. Аркан праздновал. Склеп молчал.

Ночью сестры положили меня на алтарь. На холодный, темный камень, отполированный тысячами рук и одному богу известно, чем еще. Свечи горели. Они молились — тихо, ритмично, слова расплывались в сыром воздухе и оседали на стенах, как влага. Никто не знал, что делать с тем, что принесли. Но никто и не спросил.

Утром шея срослась.

Остался только шрам. Тонкий, ровный, хищный. Когда я вырос, то впервые посмотрел на него. В отколотое зеркало, что держали сестры в столовой. Он улыбался. Не мне. Просто улыбался.

Я не знаю, кто перерезал мне горло. Не знаю, зачем. Но он был там, когда Аркан сказал: «Берите». Значит, взял и он. И след его — где-то здесь. В этом городе. В этом склепе. В этом шраме, который смотрит в зеркало и молчит.

Меня зовут Граб. Сам выбрал. Мать не успела.

Моя история началась так. Но охота — настоящая охота — началась гораздо позже.

Глава 1. Грязный вкус

Восемнадцать лет. Каждую ночь, когда склеп затихал, я сбегал.

Не потому, что меня держали взаперти. Варлам никогда не запирали общую дверь. «Смерть нельзя удержать», — это висело в воздухе склепа без всяких замков. Но за мной следили — сестры, крысятники, а может, и сам Верховный. Они позволяли уходить, потому что верили: вернусь. Всегда возвращался. Как пес, который знает, где миска. Зачем запирают того, кто сам приползет жрать?

В ту ночь я бродил у границы Нижнего города. Тени здесь не скрывали людей — они скрывали все дерьмо, что у них внутри. А может, наоборот, показывали. Город дышал в тебя. Плотно, тяжело, распирая легкие чужим выдохом. А ты только и мог, что давиться им, как гарью. Гниль с кожевненных мастерских. Дешевый эль, которым блевали прямо в сточные канавы. Жареный лук с тележки, что торгует до рассвета. И еще что-то сладковато-тошнотворное — крысиный яд, или, может, разложившаяся кошка под крыльцом.

Я зашел в переулочек за заброшенной ткацкой фабрикой. Знал: оттуда можно выйти к реке — единственной чистой вещи в этом городе. Даже когда в ней плавали нечистоты, даже когда она пахла тиной и медянкой — она хотя бы не лгала.

Переулочек пах иначе. Сыростью. Мочой. И кровью.

Сначала я подумал — крысы. Они тут жирные, с кулак размером, не боятся ни людей, ни богов. Но потом услышал хрип. Женский. Горловой. Тот звук, который издают, когда легкие наполняются чем-то, чему там быть не положено.

Я не хотел быть героем. В Паркине герои гнили в безымянных могилах. Хотел к воде, но ноги несли в темноту. Сапоги чавкали по грязи. Где-то капало из трубы — то ли вода, то ли кровь. Иногда лучше не знать.

Я нашел их у стены.

Мужчина нависал над ней. Она уже не двигалась — лицом вниз, юбка задрана, руки раскинуты, как у тряпичной куклы, которую ребенок отшвырнул в угол. Он стоял над телом, поправляя штаны. Тяжелое дыхание. Бешеная псина, только что оторвавшая кусок.

Он заметил меня.

— Ты кто твою мать? — прохрипел он.

Голос липкий, пьяный, с присвистом. Запах перегара толкался в меня за три шага. Он двинулся навстречу. В глазах ни капли страха. Одна досада — будто муху с куска мяса согнали.

Он достал нож. Небольшой, с кровотоком на лезвии. Таким пользовался каждый третий.

Я вытащил свой нож, сжал рукоять. Маленький, прятанный в голенище сапога. Варлам учил доставать его не глядя, одним движением. «Сонная артерия, — говорил он, вода моим пальцем по холодной коже трупа. — Три секунды до беспомощности. Еще три — до смерти».

Мужчина бросился. Не размахиваясь, не крича. Просто шагнул вперед и рубанул — грязно, со всей силы, как топором. Шаг в сторону. Перехват запястья. Кости хрустнули под пальцами — он даже не успел удивиться.

Лезвие скользнуло по шее.

Кровь хлестнула в лицо. Я знал кровь — холодную, мертвую, ту, что стекает по рукам трупов и ничего не чувствует. Эта была другой. Горячей. Живой. Она пахла не смертью — она пахла тем, что только что было жизнью. И это оказалось страшнее всего.

Он захрипел — звук, похожий на засорившуюся трубу, — схватился за горло обеими руками, упал на колени, потом ничком в грязь. Ноги еще дергались. Пальцы скребли булыжники.

Звук ушел не сразу. Сперва пропал ветер, потом — шорох его падающего тела. Остался только стук. Мой пульс в ушах, его кровь по булыжникам. Два ритма, и я не сразу понял, какой

из них уже затихает. Потом изнутри, из темноты за желудком, лезло чужое. Без спроса. Без стука.

А потом внутри раскрылось.

Вторжение. Без боли.

Чужая плоть вошла в мою. Тяжелая. Пальцы, сжимавшие женское горло. Пот на спине — его пот. Стук крови в висках — не моей. А потом накатило Оно.

Это было живым. Дерзким. Оно не спрашивало — просто вошло и заняло место, как хозяин в чужом доме. Горячее, страстное, абсолютно чужое. И абсолютно настоящее. Тот экстаз, который он испытывал минуту назад, ломая ей шею.

Я чувствовал ее страх — как она хрипит, как ногти скребут по стене. Я чувствовал его власть. Животную, слепую, абсолютную. Жизнь в его руках была дешевле монеты. Он не ненавидел ее, ему было плевать. Просто в тот момент она была вещью. Препятствием.

Мотив.

Слово пронзило мозг, как игла в глазное яблоко. Не деньги. Не защита. В момент наивысшего наслаждения чужая жизнь стала для него мусором. Ее крик мешал ему кончить.

— Аааа!

Я закричал, но звука не было. Только хрип, как у него.

Меня согнуло пополам. Желудок вывернуло наизнанку — я блевал прямо на булыжники, рядом с телом, которое еще дергалось. Кислая рвота смешалась с кровью, с грязью. Все тело ломило. Кости хрустели. Мышцы сводило — выворачивали наизнанку, пытаюсь достать что-то, чему внутри не место.

Я смотрел на девушку у стены. Голова лежала неправильно, шея не в состоянии повернуть ее в такое положение. Глаза открыты. В них застыло что-то — не страх уже. Удивление. Как будто она до последнего не верила, что это случилось.

Я знал, почему она умерла. Я знал, почему он умер.

Тьма пришла не сразу. Сначала тело двинулось само. Шаги. Тяжелые, неровные. Потом чьи-то лица — размытые, как в грязной воде. Потом голоса — далекие, будто с другого берега. А потом ничего.

Очнулся я в своей комнате.

Холодный камень под спиной. Знакомый запах сырой земли, сухих трав и трупов. Я лежал на кровати, сжимая голову руками, и чувствовал, как под пальцами пульсирует что-то горячее. На мне чистая рубаха. Лицо умыто. Крови нет.

Кто принес меня сюда?

Я не помнил дороги. Не помнил, как перешел через мост, как миновал стражу у ворот. Только обрывки: чья-то рука на плече, родная, знакомая; мой собственный голос, бормотавший что-то про реку и про чистоту, а потом — темнота и холод.

Я поднял руку и коснулся шеи. Шрам под пальцами горел — или показалось. Пальцы дрожали.

Вчера я чувствовал чужую похоть. Чужую жажду убийства. Я чувствовал мотив убийцы так ясно, как будто это был мой собственный грех.

И вдруг мысль пробилась сквозь туман — острая, как тот нож:

Если я могу понять их... то я могу понять и того, кто сделал это со мной.

Кто перерезал мне горло? Что двигало им? Страх? Жалость? Желание?

Вопрос повис в воздухе, тяжелый, как мясо на крюке.

Дверь скрипнула. Я узнал этот звук — старое дерево, которое всегда трет о камень в одном и том же месте. В проеме возник силуэт Варлама. Он смотрел на меня своими глубокими, спокойными глазами — цвет которых напоминал потускневшее от времени золото. В них не было удивления. Не было вопроса. Только теплая, тяжелая забота, от которой у меня внутри всегда сжималось что-то детское и незащищенное.

— Ты плохо выглядишь, Граб, — сказал он.

Голос низкий, чуть хрипловатый. Я знал этот голос с детства. Он читал мне книги. Он шептал молитвы над алтарем. Он говорил: «Ты — дитя смерти».

— Я... я просто устал, — прохрипел я. Голос звучал чужим — сильным, как у того мужика в переулке.

Варлам вошел в комнату. Шаги мягкие, неслышные — он всегда двигался как тень. С ним пришли и его запахи: мяты и старого пергамента. Но это не все, что приходит с ним. Может, сам склеп. Может, сама смерть.

Он сел на край кровати. Постель прогнулась под его тяжестью. Положил руку мне на лоб. Проверил, нет ли жара. Я смотрел на его пальцы. Желтоватые ногти. Тонкие морщины на костяшках. Ни одного украшения. Варлам никогда не носил ничего, кроме своего черного облачения.

— Ты был на реке, — сказал он. Не вопрос. Утверждение.

Я молчал.

— Ты убил человека.

Не вздохнул. Не отвел взгляд. Сказал так же спокойно, как говорят «ты поел» или «за окном дождь».

— Он насиловал девушку, — выдавил я. — Он убил ее.

Варлам кивнул медленно, будто проверял что-то у себя в голове.

— Это не оправдание. И не осуждение. Это факт. Ты взял жизнь. И ты вернулся.

Он убрал руку. Холод вернулся на лоб.

— Завтра начнется настоящее обучение, — произнес он.

В голосе не было угрозы. Только спокойствие человека, который ждал этого момента годами. Он снова положил руку мне на плечо — тяжелую, знакомую. Жест, который я знал с детства. Защита. Благословение. Клетка.

— Ты сделал первый шаг, Граб. Теперь ты должен научиться понимать, зачем ты это сделал.

Он поднялся. Дверь закрылась без звука. Варлам всегда умел уходить тихо.

Я остался один.

Посмотрел на свои руки. Они дрожали. Под ногтями — ни грязи, ни крови. Кто-то вымыл их. Кто-то переделал меня. Кто-то принес мое тело обратно в склеп.

Он не спросил, где я был. Не спросил, что случилось. Он и так знал.

Всю ночь кто-то следил за мной. Может быть, сестры. Может, крысятники. Может, сам Варлам. Он никогда не отпускал меня по-настоящему. Слишком сильно любил. Или слишком сильно верил в то, кем я должен стать.

Я сжал ладони в кулаки. Кости хрустнули.

Он знал о первом убийстве. Но он не знал главного. Он не знал, что я чувствую мотивы. Что видел душу убийцы в момент его падения. Что я блевал на булыжники не от страха. Просто чья-то похоть залилась мне в глотку — и меня вывернуло.

Для Варлама я был ликом смерти. Орудием, которое должно очистить этот мир.

Для меня это стало чем-то другим.

Я скрыл это от него. Впервые в жизни. И с этой секунды между нами легла тень.

Я знал, что однажды смогу найти того, кто оставил этот шрам. Но сначала нужно было научиться контролировать этот голос в голове. Голос чужих мотивов. Чужой грязи. Чужой смерти.

И понять, кто я на самом деле: орудие в руках Варлама — или тот, кто сам выбирает, кого судить.

Я лег обратно на жесткую постель и закрыл глаза.

Но даже во сне вкус той ночи не уходил. Чужая похоть и смерть ввелись в язык, в небо, в горло.

Смотрел в потолок, где каменные своды уходили во тьму. Где-то там, наверху, лежал город — тайна, залитая лунным сиянием и кровью. А здесь, внизу, лежал я — живой, мертвый, воскресший.

И нужно было найти что-то чистое. Чтобы смыть это.

Но в Паркине чистого не было. Даже река. Даже смерть.

Глава 2. Дар смерти

Веки открылись не от шума. Меня разбудила тишина. А потом вполз запах хлеба.

Он сочился в мою комнату сквозь щель под дверью вместе с тонкой полоской света от масляной лампы. Я не слышал шагов, но знал, кто пришел. Сестры милосердия умели двигаться бесшумно. Они носили тяжелые юбки, которые не шуршали, и мягкие башмаки, которые не стучали по камню. Варлам говорил, что смерть не объявляет о себе заранее.

— Граб, — голос Зары был тихим, почти ласковым. — Ты проснулся?

Я сел на постели. Голова гудела, как после долгого боя. Во рту все еще чувствовался тот вкус — железо и сладость, которые не вымыть ни водой, ни временем. Зара стояла на пороге с подносом в руках. На деревянной тарелке лежал ломоть хлеба, кусок сыра, кружка теплого травяного отвара. Она поставила поднос на край стола и посмотрела на меня тем взглядом, который я знал с детства: спокойным, безжалостно-мягким взглядом человека, который видел слишком много смертей, чтобы волноваться из-за одной.

— Ешь, — сказала она. — День настал.

— Какой день?

Она не ответила. Только поправила платок, закрывающий волосы, и сложила руки перед собой. Сестры никогда не говорили лишнего. Они рожали детей для Варлама. Иногда закапывали тела. Стирали кровь с алтарных плит. Они молчали. Я не знал, сколько их было на самом деле. Десять. Двадцать. Они появлялись из темноты и исчезали в темноту. Зара была старшей. Ее лицо я помнил лучше других — узкое, бледное, с глубокими морщинами вокруг губ, которые появляются у тех, кто часто шепчет молитвы.

— Варлам ждет тебя у Алтаря, — добавила она, уже поворачиваясь к двери.

У меня перехватило дыхание.

Я никогда не был в том зале. С самого детства дверь в южной части склепа оставалась закрытой. Массивная, железная, с засовом, который мог сдвинуть только Варлам. Я спрашивал о ней однажды, лет в десять. Он тогда долго молчал, потом положил руку мне на плечо и сказал: «Ты войдешь туда, когда будешь готов. И тогда ты поймешь, зачем ты здесь».

Я думал, что готов. Но ошибался.

Хлеб застревал в горле. Я заставил себя съесть почти все, выпил отвар до дна. Тепло растеклось по животу, но не согрело. Внутри все было пустым и колючим, как ледяной склеп. Я натянул рубаху, заправил ее в штаны, нащупал ногой сапог. Мой нож лежал на стуле — тот самый, с которым я не расставался с двенадцати лет. Я сунул его в голенище по привычке, хотя знал: сегодня он мне не понадобится. Или понадобится, но не так, как вчера.

Коридор тянулся долго. Сырой камень, стены в подтеках, факелы через каждые десять шагов. Я прошел мимо келий сестер — все двери закрыты, ни звука. Мимо комнаты, где Варлам хранил свои книги — тяжелые, в кожаных переплетах, с застежками из почерневшего серебра. Миновал лестницу, которая вела наверх, к кладбищу, и дальше — в город.

Дверь в южный зал была открыта.

Волосы на руках встали дыбом, впервые видел ее распахнутой. Железное полотно уходило в стену, открывая проход шириной в два моих шага. За ним горел свет — не от дрожащих факелов. Ровный, желтоватый, внутри горело множество свечей. Я вошел.

Воздух внутри был сладким с привкусом расплавленного парафина.

Зал оказался меньше, чем я ожидал. Квадратная комната, сложенная из того же серого камня, что и весь склеп, но стены здесь были гладкими, без плесени. В центре возвышался Алтарь. Захватывал все внимание, приковывал — сразу понятно, почему Варлам держал эту дверь закрытой.

Это был не просто камень.

Плита темного, почти черного гранита стояла на четырех ножках, вырезанных в виде скрюченных фигур. Я не сразу понял, что это — человеческие тела. Сжатые, искаженные, с задранными головами и раскрытыми ртами. Они уверенно держали плиту на себе, и она давила на них всей своей тяжестью. Поверхность алтаря была испещрена мелкими бороздками — все сходилось к краю, к небольшому желобу, который вел вниз, в темное отверстие.

Впечатляющая тончайшая работа. Кровь. Кровь стекает по бороздкам, собирается в желоб и уходит вниз, в каменное чрево, туда, где ее никто не видит.

Свечи стояли по всему залу — сотни, не меньше. Воткнутые прямо в щели между камнями, оплавленные, с длинными черными фитилями. Они горели ровно, без треска, без копоти. Но пламя чуть покачивалось, будто здесь кто-то дышал.

Варлам стоял перед алтарем спиной ко мне. Его черное облачение спускалось до самого пола, скрывая ноги. Руки он держал на плите, чуть расставив пальцы, как слепой, который читает книгу, написанную на камне.

— Подойди, — сказал он, не оборачиваясь.

Я сделал несколько шагов. Пол под ногами был холодным, но не сырым. Я остановился в трех шагах от него.

— Ты никогда не был здесь, — сказал Варлам. Он все еще смотрел на алтарь. — Я ждал этого дня. Ждал дольше, чем ты можешь представить.

Он повернулся.

В свете свечей его лицо выглядело иначе. Глубокие тени залегли под скулами, в глазницах, вокруг рта. Он выглядел старым. Но глаза. Варлам смотрел на меня своим особенным, пронизывающим взглядом — в нем плавилась спокойная сила, что и всегда.

— Ты убил вчера, — пламя свечей колыхалось, подчиняясь его властному тону. — Не по моему приказу. Не по воле культа. Ты убил потому, что твоя природа потребовала этого. Ты защищал. Ты наказывал. Это хорошо. Но это было случайно.

Он шагнул в сторону, открыв передо мной, что лежало на алтаре.

Кинжал.

Он лежал на темной ткани, вытянутый, узкий, с лезвием, которое казалось слишком длинным для такого тонкого клинка. Рукоять была обмотана черным ремешком, навершие — в виде человеческого черепа, стиснувшего зубы. Металл не блестел. Он не отражал свет — он его поглощал.

— Это, дар смерти, — сказал Варлам. — Его ковали не в кузнице. Его вырезали из цельного куска железа, которое пролежало в братской могиле сто тридцать лет. По преданиям, каждый, кто держал его, становился проводником. Теперь, ты готов, настала твоя очередь.

Он взял кинжал за лезвие и протянул мне рукоятью вперед.

Я взял. Металл был теплым. Маленькое живое тело. Пальцы сомкнулись на ремешке, и я почувствовал, как что-то шевельнулось внутри клинка. Как будто лезвие принюхивалось ко мне. Знакомилось, протягивало руку.

— Сегодня ты исполнишь волю культа, — прошептал Варлам. — Первую волю. Не случайного убийцу в темном переулке. Не защиту слабого. А священную миссию. Ты готов?

Я схватил рукоять сильнее. Металл грел изнутри.

— Кого убить? — спросил я. Голос прозвучал ровно. Спокойнее, чем он ожидал.

Варлам улыбнулся краем рта. Удовлетворенно. Как человек, который слышит правильный ответ на вопрос, суть которого неизвестна.

— Не убить! — мягко поправил Варлам. — Смерть не убивает. Это мясники убивают, она просто забирает то, что и так принадлежит ей.

— В Нижнем городе есть человек. Его зовут Лютый. Он торгует краденым, держит приют в переулках за Рыбным рядом. Для всех он мелкая сошка. Но он связан с теми, кто тянет нити в этом городе. С теми, кто сделал Паркин тем, что он есть.

Он помолчал. Поправил ворот.

— Культ существует в тени, Граб. Наша сила в том, что о нас не знают. Но есть люди, которые начинают искать. Которые суют нос туда, где не место носу. Лютый — один из них. Он собирает сведения. Передает их дальше. Если он продолжит, о нас узнают. А мы не можем этого допустить.

Он смотрел мне прямо в глаза. Я смотрел в ответ.

— Это не месть, — продолжал Варлам. — Не наказание. Это очищение. Ты убираешь грязь, которая может запятнать святое дело. Ты понимаешь?

— Понимаю.

Хотя понимал ровно то, что он сказал. Но в груди уже шевельнулось ожидание. Вчера я узнал, что чувствую мотивы убийц. Я видел душу того мужчины в переулке — его грязную, животную душу. Узнал, почему он убил. И сейчас, глядя на Варлама, я понимал, что сегодня мне предстоит узнать нечто большее.

Он сказал: «Он сует нос». Но вчерашний убийца тоже не выглядел в темноте тем, кем оказался.

— Лютый сейчас в своем притоне, — сказал Варлам. — Он не ждет гостей. Ты придешь к нему, как смерть. Ты не будешь говорить с ним. Ты не будешь спрашивать. Ты сделаешь то, для чего рожден. А потом вернешься.

Он протянул руку и коснулся моего лица. Ладонь была сухой и теплой, как и кинжал.

— Ты — лик смерти, Граб. Сегодня ты примешь свой первый дар.

Нижний город встретил меня запахами.

Подожвы ступали по улицам, которые я знал с детства, но сейчас они казались чужими. Кинжал был спрятан за поясом, под рубахой. Чувствовалось его тепло на коже, и это тепло не давало мне покоя. Он пульсировал. Или мне казалось.

Рыбный ряд уже опустел. Днем здесь торговали, кричали, ругались, перебрасывались тухлой требухой. К вечеру остались только крысы и те, кому некуда идти. Я свернул в переулок, который Варлам описал еще в склепе. Узкий, вонючий, с облезлыми стенами и дверью без ручки.

Навалился и толкнул ее плечом. Внутри пахло дешевым элем, потом и кисляком, от чего слезились глаза. Лестница вела вниз. Ступени скрипели под ногами, но я ступал тихо. Варлам учил меня ходить так, чтобы ни одна доска не выдала.

Внизу горел один светильник. Комната была заставлена ящиками, тюками, какими-то тряпками. В углу стоял стол, на столе — бутылка и грязная кружка. За столом сидел человек.

Лютый.

Он был невысоким, плотным, с круглым лицом и жидкими волосами, зачесанными на лысину. Одет в засаленную куртку, пальцы унизаны дешевыми кольцами. Он поднял голову, когда я вошел, и я увидел его глаза — маленькие, быстрые, как у крысенюша, который почуял опасность, но еще не поняла, откуда.

— Ты кто? — спросил он. Голос сиплый, с хрипотцой. — Сказано же, сегодня нет приема. Пшел вон.

Я не ответил. Сделал шаг. Еще один.

Он дернулся, полез рукой под стол, но я был быстрее. Кинжал вышел из-за пояса без звука. Я накрыл руку Лютого, прижал к столу, не дал вытащить то, что он там прятал. Нож? Кинжал? Не важно.

— Что надо? — прохрипел он. В глазах — страх. Самый обычный, животный страх. — Деньги? Бери, все бери. Только не убивай. Я ничего не сделал.

Я смотрел на него. Он был живым. Дышал. От него пахло потом и легким перегаром. Кадык двигался, артерия пульсировала. Ворот рубахи расстегнут, на шее — медный оберег от сглаза.

Я должен был убить его.

Кинжал поднялся.

— Пожалуйста, — выдохнул Лютый. — Я не знаю, кто тебя послал. Скажи ему, я все делал, как велели. Я никому ни слова. Ни про ту девуку, ни про...

Он не договорил.

Лезвие вошло в горло так легко, что рукоять уперлась в кадык. Я ждал хрипа, ждал крови, но кинжал словно выпил звук. Лютый дернулся раз, второй, схватился за шею обеими руками, но пальцы скользили по режущей кромке. Глаза расширились. В них не было удивления. Только узнавание. Как будто он всю жизнь знал, что умрет именно так.

Он сполз со стула, завалился на бок, забился в конвульсиях. Я стоял над ним, сжимая кинжал, и ждал.

Его пальцы еще скребли по ножке стола, но я этого уже не видел. Перед глазами встала пелена — мутная, серая, как вода в канаве у Рыбного ряда. И сквозь нее проступил не его притон, не его страх. Чужой плащ. Чужие плечи. Сухие пальцы с перстнем. Я не смотрел на это. Я был внутри этого. Холод шел не от склепа — от меня.

А потом пришло остальное. Не удар — расползание. Липкий, всепроникающий страх, который не имеет формы, но заполняет собой все. Я увидел — нет, не увидел, ощутил — ночи без сна, когда Лютый ворочался на своей лежанке и слушал, не стучат ли в дверь. Я почувствовал, как его руки дрожали, когда он передавал кому-то сверток как свои собственные. Я услышал обрывки разговоров, которые он запоминал, чтобы потом пересказать — не все, только то, что могло спасти ему жизнь.

А потом пришло воспоминание.

Девушка.

Молодая, лет пятнадцати, с темными волосами, которые слиплись от крови. Она лежала в ящике, заваленная тряпьем. Лютый стоял над ней, тяжело дыша, и сжимал в руке мокрую тряпку. В другой руке — нож. Простой кухонный нож. На лезвии — кровь.

Она что-то видела. Что-то такое, чего не должна была видеть. Лютый не знал что. Ему не объясняли. Ему сказали: «Убери». И он убрал.

Я ощутил, как лезвие входило в ее шею. Ощутил хруст. Ощутил, как кровь брызнула на пальцы, горячая, густая. И в тот же момент ощутил облегчение.

Она перестала смотреть.

Она перестала дышать.

Она перестала быть уликой.

Но в этом воспоминании было кое-что еще. Не лицо. Не имя. Разговор, который произошел за три дня до того, как Лютый достал нож.

Двое. Лютый и тот, кто пришел к нему в притон. Лютый не видел лица — только спину, широкие плечи, плащ из плотной черной шерсти. Гость стоял у стола и не садился. Монолит. Не смотрел по сторонам. Он был из тех, кто приходит по делу и уходит сразу, оставляя после себя только груз.

— Ты знаешь, кто меня послал? — спросил гость. Голос низкий, спокойный, без интонаций. Таким голосом говорят люди, которые не привыкли повторять дважды.

— Знаю, — ответил Лютый. Я чувствовал, как внутри все сжимается. Не от страха перед этим человеком. От страха перед тем, кто стоял за ним.

— Та девка. Которая торгует у Старого моста. Она видела то, что не должна была видеть.

— Я слышал.

— Ты ничего не слышал. Ты сделаешь.

Гость положил на стол мешочек. Кожаный, затянутый шнурком. Лютый не посмотрел на него. Он смотрел на руку, которая положила мешочек. На пальце — перстень. Старый, потускневший, с изображением волка, рвущего пасть. Лютый запомнил этот перстень. Я почувство-

вал, как эта деталь врезалась в его память — не потому, что он хотел ее запомнить. А потому, что страх заставляет цепляться за такие вещи. И эта деталь сейчас была моей, собственной.

— Убери, — сказал гость. — Чисто. Чтобы никто не нашел.

— А если спросят?

— Кто спросит?

Лютый молчал.

— Никто не спросит, — сказал гость. И вышел.

Стоя на коленях рядом с телом, это воспоминание жгло меня изнутри. Страх Лютого был не перед тем гостем. Гость был просто посыльным. Страх был перед тем, кого гость представлял. Перед тем, кто носил перстень с волком — или перед тем, кому этот человек служил.

Я не услышал имени. Не увидел лица.

Но чувствовалось его присутствие. Весомое, всепроникающее, как запах гнили, который чувствуешь за версту, но не можешь понять, откуда идет вонь.

Лютый убил ту девушку не потому, что хотел. И не потому, что она угрожала ему. Пешка, кто-то сказал «убери». И он не посмел послушаться. А тот, кто сказал, делал это не в первый раз. Я это знал. Это сидело внутри. И в глотке, и вот тут где шрам. Дергается. Каждый толчок — не мой.

Меня согнуло пополам. Уперся на руки рядом с телом, которое еще не остыло, и меня вывернуло наизнанку. Рвота смешалась с кровью на полу. Давился, кашлял, и все никак не мог выплюнуть тот страх. Он въелся в горло, в легкие, вглубь живота.

Посмотрел на свои руки. Они дрожали. Кинжал все еще был зажат в правой, и лезвие блестело в тусклом свете — чистое, без единой капли крови.

Лютый был фигуркой. Кто-то двигал им, даже не касаясь. И этот кто-то был достаточно силен, чтобы Лютый предпочел убить невинную девушку, чем послушаться.

Я поднял голову и посмотрел на тело. В голове пульсировало одно — не имя, нет. Образ. Перстень с волком, рвущим пасть. Старый металл. Глубокая гравировка. Такую вещь не носят простые посыльные. Или носят, но не случайно.

Разум запомнил его. Каждую царапину. Каждый изгиб.

Кинжал за поясом был теплым. Слишком теплым. Я сунул его глубже, вытер рот рукавом и поднялся.

Лютый лежал лицом вниз. Его пальцы так и остались, скрючены, пока он пытался ухватиться за жизнь. На шее — тонкая полоска, почти незаметная. Красивая рана. Почти невинная.

Теперь я знал, Лютый сдох не из-за культа. Он сдох, потому что боялся того, кто носит волка, больше, чем ножа в горле. Пес. Чей-то пес.

Я вышел из притона тем же путем. Лестница, дверь, переулок. Воздух на улице показался мне чистым, хотя он был полон той же тухлой вони, что и всегда.

Направился, не привлекая внимания к кладбищу, к склепу, и перед глазами все еще стоял тот перстень. Оскаленная морда. Я никогда не видел такого раньше. Но я знал, что увижу снова.

Варлам ждал меня у входа в склеп. Он стоял в тени, руки сложены на груди, лицо спокойное. Подойдя ближе, он посмотрел на меня долгим взглядом. Не спросил, как прошло. Не спросил, что я чувствовал.

— Сделано? — спросил он.

— Да.

Он кивнул.

— Ты исполнил волю культа, Граб. Теперь ты один из нас. Не просто дитя. Проводник.

Он положил руку мне на плечо. Похлопал и успокаивающе прижал. Я стоял под ней и чувствовал, как между нами растет что-то новое. Не недоверие. Не страх. Тишина. Такая же тяжелая, как каменные своды склепа.

Он думал, что сделал меня орудием.

Но я только что понял: орудия могут видеть то, что скрыто от рук.

Я улыбнулся ему в ответ. Впервые в жизни — не той улыбкой, которой он учил меня. Своей.

— Я готов к следующему заданию, — сказал я.

В глазах Варлама мелькнуло что-то. Удовольствие. Гордость. Или, может быть, облегчение.

Не стал смотреть глубже. Еще не время.

Время придет позже. Когда я узнаю достаточно, чтобы понять, кто перерезал мне горло. И кто на самом деле держит этот город в страхе.

А пока я вернулся в свою комнату, лег на жесткую постель и закрыл глаза. За поясом пульсировал могильный кинжал. В голове — чужой страх, чужое убийство, чужой секрет.

Волк, с разинутой пастью.

Глаза закрылись, но этот образ горел на внутренней стороне век, выжженный, как клеймо. Я не знал, что он значит. Но я знал, что буду искать.

Один мотив за другим. Одно убийство за другим.

Пока не найду того, кто носит этот перстень. Или того, кто стоит за ним.

Глава 3. Волки и овцы

Я проснулся от того, что кто-то сидел на краю кровати.

Не скрипнула дверь. Не стукнула задвижка. Просто открыл глаза — и увидел его. Варлам сидел на постели, сложив руки на коленях, и смотрел на меня. Не в глаза. На шею.

Я не пошевелился. Только смотрел в ответ. Шрам под его взглядом начал чесаться. Или показалось.

— Ты хорошо поработал, — сказал он, наконец.

Голос низкий, утренний, чуть хриловатый. Таким голосом говорят, когда уже не спят, но еще не начали день.

— Лютого нашли сегодня. Стражники решили, что свои же порешили. Долг не отдал.

Он усмехнулся краем рта. Невесело.

— Никто не ищет. Никому нет дела.

Я сел. Варлам не двинулся. Черное облачение без капюшона — я редко видел его таким. Седина в волосах проглядывала ярче, чем обычно. Морщины на лбу глубокие, как трещины в старой глине.

Он помолчал. Я ждал. Варлам никогда не приходил просто так.

— Я думал, ты захочешь отдохнуть, — сказал он.

Я не понял. Отдохнуть — это как? Восемнадцать лет. Склеп. Обучение. Ночные побег, когда я возвращался под утро, и никто не спрашивал, где я был. Но чтобы он сам отпустил — такого не было.

Он сунул руку в рукав и вытащил кожаный мешочек. Кинул на постель рядом со мной. Тяжелый. Звякнул.

— Сходи в город, развейся. Возьми. Купи что захочешь. Поешь нормально. Ты слишком худой.

Я взял мешочек. Не развязал. Смотрел на него.

— Я не знаю, что покупать.

Варлам смотрел на меня долго. В его глазах оттенка мутного золота было что-то. Не гордость. Не любовь. Что-то более тяжелое. Более старое.

— Узнаешь.

Он поднялся. Пошел к двери. У порога остановился. Не обернулся.

— Граб.

— Да.

— Если ты поймешь... или решишь, что кому-то пора... ты знаешь, что должен делать. Помни, кто ты.

Слова упали в тишину. Я чувствовал, как они оседают в груди. Не холодом. Тяжестью. Как камень, который опускается на дно.

— Я помню, — сказал я.

Он ушел. Дверь закрылась без звука.

Я развязал мешочек. На ладонь высыпались монеты. Медь. Серебро. Больше, чем я видел за всю жизнь.

Я оделся. Нож в голенище. Кинжал за пояс — теплый, пульсирует. Я снял его, положил на постель. На постели он выглядел чужим — просто кусок металла. Но стоило взять обратно в руку, как пальцы вспомнили тепло. Я сунул обратно.

Солнце стояло высоко, когда я вышел из ворот кладбища. Но Паркин не стал светлее. Тени здесь живут своей жизнью — выползают из подворотен даже в полдень.

Я шел по улицам, которые знал наизусть. Но сегодня они выглядели иначе. Или я иначе смотрел.

Раньше я был здесь тенью. Ночью. Сливаясь со стенами. Теперь — день. Солнце. Варлам сказал «иди». Это было разрешение. Или проверка.

Я купил хлеба у старухи, которая торговала у моста. Горячий. Пах ржаным и тмином. Отломил кусок, сунул в рот. Хлеб оказался слишком мягким. Слишком живым.

Я бродил без цели. Смотрел на лица. Женщины тащили корзины с грязным бельем. Мужчины перекидывались костями в тени навесов. Дети бегали босиком по булыжникам, кричали, дрались из-за огрызка.

Никто не смотрел на меня. Никто не знал, кто я.

Или знали? Сестры. Крысятники. Те, кто носит вести.

Я остановился у Рыбного ряда. Вонь здесь стояла такая, что слезились глаза. Я смотрел в переулок, где вчера — или позавчера? — убил Лютого. Дверь была закрыта. Никого. Стражники не дежурили. Никому не было дела.

Я отвернулся и пошел дальше.

К вечеру меня принесло туда, где огни горели ярче. Не фонари — масляные плашки в окнах. Желтые. Мутные. Обещающие сладкое тепло.

«Лысая берлога» скрипя цепями раскачивалась плашка над входом, подгоняемая гнилым ветром.

Я не планировал заходить. Я вообще не знал, что такое бывает — заходить туда специально. Но дверь открылась сама. Или кто-то открыл.

— Эй, красавчик. Не стой на ветру.

Женщина в дверях. Старше меня лет на десять. Грудь вываливалась из платья, губы накрашены дешевой помадой, от чего кожа вокруг рта казалась серой. Она смотрела на меня с веселым равнодушием. Оценивала. Кошелек. Возраст. Смогу ли заплатить.

— Заходи, не бойся. У нас чисто.

Я зашел.

Внутри обитал не только аромат сладковатых духов и прогорклого масла, но и то же, чем пахло в переулке у фабрики. Пот. Страх. Желание.

Комната была большая, но казалась тесной из-за низкого потолка. Вдоль стен — лавки. На лавках — мужчины. Кто пил, кто щипал девок, кто просто сидел с пустым взглядом.

Меня повели вглубь. Усадили за стол. Предложили эль. Я выпил. Горько. Пахло дрожжами.

— Тебе кого? — спросила та, что открыла дверь.

Хозяйка. Я понял это по тому, как она смотрела на других женщин. Без злости. Без тепла. Как на инструменты.

Я молчал. Я не знал, кого. Я вообще не знал, зачем пришел.

Она усмехнулась.

— Молоденького? Свеженького? Есть у нас одна. Недавно. Еще не затасканная.

Она кивнула в сторону лестницы. Я посмотрел туда.

Девушка на нижней ступеньке. Лет шестнадцати. Темные волосы собраны в узел, но выбивались пряди. Платье чистое, но дешевое — видно по ткани, по тому, как оно сидит. Она смотрела на меня. В ее глазах не было желания. Не было кокетства. Внимание. И страх, который она прятала за спокойным лицом.

— Лина, — хозяйка щелкнула пальцами. — Поднимись. Покажи гостю комнату.

Девушка поднялась. Пошла к лестнице. Обернулась. Ждала.

Я встал и пошел за ней.

Комната была тесной. Кровать. Столик. Кувшин с водой. На стене — дешевый ковер, чтобы скрыть плесень. Свеча на столике коптила, и маслянистый дым тянулся к потолку.

Лина закрыла дверь. Задвинула задвижку. Металл щелкнул глухо. Сердце забило быстрее.

Она повернулась ко мне. Улыбнулась. Улыбку она репетировала. Я это видел.

— Ты в первый раз? — спросила она.

Я неуверенно кивнул.

— Я тоже, — сказала она и тут же опустила глаза. — Я... первый раз... ну, не работаю первый раз, а... с таким как ты. Молодым.

Она подошла ближе. Начала расстегивать мою рубаху. Пальцы у нее были тонкие, холодные. Я смотрел на ее руки. На запястье — синяк. Старый, желтоватый.

Она расстегнула третью пуговицу.

Ее пальцы скользнули по моей груди, и я перестал видеть эту комнату. Воздух стал тяжелее, запахло мочой и той кислятиной из переулка у фабрики. Я снова стоял там, в том переулке. Мужчина нависает над девушкой. Поправляет штаны. Тяжелое дыхание. А потом — волна. Грязная, липкая похоть, которая накрыла меня с головой. Та самая. Которая въелась в язык, в небо, в горло. Которую я не мог выплюнуть три дня.

Я чувствовал ее снова.

Не чужую. Свою.

Или ту, что стала своей.

Моя рука сжала запястье Лины. Сильнее, чем нужно. Она вздрогнула, но не отстранилась. Смотрела на меня с испугом.

— Ай. Больно, — тихо пискнула она.

Я отпустил. Отступил на шаг. Дышал тяжело.

— Что случилось? — она не понимала. — Я что-то не так делаю?

— Нет. — Голос прозвучал чужим. Сиплым. — Не надо.

— Что?

— Не надо. Я не могу.

Я отошел к стене. Прижался спиной к холодному камню. Закрыв глаза. В голове стоял тот переулочек. Та похоть. Тот вкус. Я чувствовал, как она поднималась из желудка, как тогда, перед рвотой.

Я открыл глаза.

Лина стояла посреди комнаты. Руки опущены. Пальцы сжимали подол. На глазах выступили слезы. Она не понимала. Она думала, что это она виновата.

— Я что-то не так сделала? — голос дрожал. — Ты скажи. Я могу по-другому. Как скажешь. Только не говори хозяйке. Пожалуйста.

— Ты не причем, — сказал я. — Это не ты.

— Тогда что? — она смотрела на меня, и в ее глазах уже не было кокетства. Только страх. Настоящий. — Я плохо пахну? Я могу умыться. Я...

— Замолчи.

Она замолчала. Стояла и смотрела на меня. Слезы текли по щекам. Она не вытирала.

— Хозяйка убьет меня, — сказала она тихо. — Если ты уйдешь и не вернешься... она подумает, что я не угодила. Она отдаст меня волкам.

— Волкам?

— Так их называют. Тех, кто приходит, когда девка больше не нужна. Они забирают. Потом никто не видит.

Я смотрел на нее. На плечи, которые тряслись. На синяк на запястье. На слезы, которые она не вытирала, потому что, наверное, уже научилась — не вытирать, чтобы не размазывать.

Я подошел к столу. Достал мешочек с монетами. Отсчитал половину. Положил на столик.

— Возьми, — сказал я. — Скажешь хозяйке, что я остался доволен. Что приду еще.

Она смотрела на деньги. Подняла глаза на меня. Не верила.

— Зачем тебе это?

— Не важно.

Я застегнул рубаху. У двери обернулся.

— Как тебя зовут?

— Лина, — сказала она. — Я же говорила.

— Лина, — повторил я. — Я вернусь. Обещаю.

Она смотрела на меня долго. Кивнула. Медленно. Не веря до конца.

Я вышел.

Ночь встретила меня сыростью. Я шел быстро, почти бежал. В голове была каша. Лицо горело. Я чувствовал на себе пальцы, которых не было. Слышал чужой плач, которого не слышал.

Я злился. Сам не знал, на кого. На Варлама, который отпустил. На себя, который не смог. На эту хозяйку с серыми губами. На тех, кого называли волками.

Я свернул в переулок. Короткий путь к кладбищу. Здесь было темно, стоял запах мочи и гнилых овощей.

И вдруг — звук.

Тонкий. Жалобный. Писк.

Я остановился. Посмотрел в темноту. У стены, в куче мусора, что-то шевелилось.

Я подошел ближе.

Щенок.

Он лежал на боку, задрал голову. Маленький, грязный, шерсть слиплась в колтуны. Глаза мутные, слезящиеся. Ребра выпирали, как жерди на гнилом заборе. Одна лапа вывернута под углом. В пасти не хватало зубов — я видел черные дыры на месте клыков.

Кто-то пнул его. Сильно. Не раз.

Он скулил. Попытался поднять голову, но падал обратно. Язык высунут, сухой. Но когда я протянул руку, он не рыкнул. Не попытался кусить.

Он лизнул мои пальцы.

Один раз. Второй. Третий.

Я сел на корточки. Осторожно ощупал. Ребра — два сломаны, чувствовалось под пальцами. Лапа — задняя, висела. Шерсть мокрая. Не от дождя. От гноя.

— Кто тебя так? — спросил я шепотом.

Щенок стонал. Лизал руку. Не ждал помощи. Просто последнее тепло перед тем, как содохнуть.

Я снял рубаху, завернул щенка. Он не вырывался — только вздрагивал всем телом и тыкался мокрым носом в ладонь, такой легкий, что казалось, держу одну шерсть да кости.

Я пошел к кладбищу.

По пути слова девушки крутились в голове: «Отдаст меня волкам».

Волки.

Я вспомнил перстень. Кусок серебра с зубами.

Волки — те, кто забирает девок. Волки — те, кто пинает щенков. Волк — тот, кто носит кольцо.

Я не знал, что это значит. Но знал: это одно и то же. Чувствовал. Как чувствовал чужую боль, когда убивал. Как чувствовал сейчас под пальцами сломанные ребра.

Я сжал челюсти. Щенок в рубахе вздохнул и затих. Не умер. Уснул.

— Я узнаю, — сказал я тихо. Никому. Себе. — Кто носит волка — тот ответит.

Я вошел в ворота кладбища. Ночь. Могильные плиты серебрились в лунном свете. Склеп чернел впереди.

Я остановился. Посмотрел на щенка. Что скажет Варлам? Склеп — не место для живых.

Но я знал: если оставлю здесь, у ворот, зверь умрет к утру. Сохнет, как мусор. Как я сам, когда лежал в мешке с перерезанным горлом.

Я пошел к склепу.

Внутри было тихо. Свечи горели ровно. Никого.

Я крался по коридору, прижимая сверток к груди. Щенок не скулил — спал, или сил не было. Я зашел в свою комнату. Положил сверток на постель.

Развернул рубаху. Щенок открыл глаза. Посмотрел на меня. Мутно. Тяжело. Но смотрел. — Тихо, — шепнул я. — Ты здесь. Не помрешь.

Я сходил за водой. Нашел тряпку. Промыл раны. Пес терпел. Только вздрагивал, когда я касался сломанной лапы.

Я уложил его на край постели. Сел рядом.

В голове была каша. Варлам. Лина. Волки. Перстень. Собака.

За поясом пульсировал кинжал. Теплый. Живой.

Я закрыл глаза.

Завтра я спрошу у Варлама. Не прямо. Осторожно. Что значит волк? Кто носит такой перстень?

Или не спрошу.

Варлам — тот, кто держит поводок. Я это чувствовал. Но сегодня, в этой комнате, с этим щенком, который лизал мои пальцы и верил мне — я чувствовал себя свободным.

Первый раз за восемнадцать лет.

Щенок затих. Я лег рядом. Закрыл глаза.

Перстень с волком стоял перед глазами. Выжженный. Как клеймо.

Я узнаю, — подумал я.

И провалился в темноту.

Глава 4. Ревность

Я проснулся от теплого дыхания на щеке.

Песик уткнулся носом мне в ухо и сопел — часто, неровно, но ровнее, чем вчера. Я не открывал глаза сразу. Слушал. Он дышал. Жил. Вчерашняя дрожь прошла, или он просто устал дрожать.

Я осторожно приподнял голову. Щенок лежал на свернутой рубахе, свернувшись калачиком. Лапа, та, что была сломана, вытянута неловко, но опухоль спадала. Глаза закрыты. Ребра вздымались и опускались.

— Живучий, — прошептал я.

Он открыл один глаз. Посмотрел на меня. Мутно, но уже осмысленно. Хвост дернулся раз, другой — не поднялся, но попытался.

Я встал. Осторожно, чтобы не потревожить. Натянул чистую рубаху — прошлую пришлось выбросить, она была в гное и крови. Затянул пояс. Нож в голенище. Кинжал за пояс.

Кинжал был холодным.

Я замер. Потрогал рукоять. Металл не грел. Обычный, мертвый кусок железа. Вчера он пульсировал, дышал, был теплым, как живое тело. Сейчас — холодный. Я вытащил его, повертел перед глазами. Лезвие тусклое, без блеска. На рукояти череп скалился неподвижно.

— Ты чего? — спросил я шепотом.

Кинжал молчал. Я сунул его обратно.

Щенок завозился. Поднял голову, понюхал воздух. Посмотрел на дверь, потом на меня.

— Я скоро вернусь, — сказал я. — Лежи тихо.

Он положил голову обратно на лапы. Не понял, но спорить не стал.

Я вышел в коридор. Склеп молчал. Утро или день — здесь не понять. Свечи горели ровно, воздух стоял тяжелый, сырой. Я прошел мимо келий сестер. Все двери закрыты. Ни звука. Только где-то далеко, в глубине, слышался глухой стук — то ли молот, то ли засов.

Я думал о Лине.

Ночью мне снились волки. Не сны — обрывки. Темные морды, желтые глаза, перстень, который сжимает чья-то рука. И голос — незнакомый, низкий, который говорил: «Волки забирают». Я просыпался, щенок вздрагивал во сне, я гладил его по голове, и он затихал.

Я хотел узнать. Кто такие волки? Что они делают с девушками? Почему Лина боится их больше, чем хозяйку?

Я толкнул тяжелую дверь склепа и вышел наружу.

Воздух ударил в лицо. Не свежий — Паркин не знает свежего воздуха. Но после склепа он казался чистым. Солнце стояло высоко, но не грело. Тени лежали густые, черные, готовые впустить любого, кто свернет не туда.

Я пошел к Нижнему городу. К тому дому, где вчера оставил Лину, где на ветру качалась плашка. Шел и думал, что скажу ей. Спрошу прямо: кто такие волки? Или осторожно, чтобы не напугать? Варлам учил: правда — как нож. Если входить правильно, рана затянется. Если нет — умрешь от потери крови.

Я свернул на улицу, где вчера был дом.

И сразу увидел толпу.

Человек двадцать, может, больше. Они стояли полукругом, плечом к плечу, и смотрели в центр. Никто не кричал. Не смеялся. Молчали. Такая тишина бывает перед казнью или когда собаки рвут кошку, а хозяева смотрят из окон и никто не выходит.

Я подошел ближе. Протиснулся между двумя здоровенными мужиками в засаленных фартуках — кожевники, от них разило кислотой и гнилью. Они даже не обернулись.

В центре круга стоял мужчина.

Высокий, широкий в плечах, в хорошей куртке — не как у нищих, но уже заношенной. Лицо красное, взлохмаченное. Он держал женщину за волосы. Она стояла на коленях, голова запрокинута, лицо мокрое — не поймешь, пот или слезы. Платье разорвано у ворота, одна бретелька висит, открывая плечо с синяками — старыми, желтоватыми.

— Ты! — орал он. Голос сиплый, срывающийся. — Ты, шлюха!

Женщина молчала. Не плакала. Смотрела в землю.

— Я тебя кормлю! — он тряхнул ее за волосы, голова мотнулась, но она не вскрикнула.
— Одеваю! А ты?

Он разжал руку. Женщина упала лицом в грязь. Не поднималась.

Мужчина отошел на шаг. Дышал тяжело. Оглянулся на толпу. Искал поддержки. Кто-то отвел глаза. Кто-то смотрел с тем же выражением, с каким смотрят на драку собак — интересно, пока не прольют кровь.

— А ты с кем шлялась? — заорал он снова. — С кем, я спрашиваю?

Женщина подняла голову. Я увидел ее лицо. Молодая, лет двадцать. Губы разбиты, под глазом наливаются синяк. Но глаза — спокойные. Усталые. Такие глаза бывают у людей, которых бьют долго и привычно.

— Ни с кем, — сказала она тихо.

Он пнул ее в бок. Не сильно — так, чтобы унижить, а не сломать ребра. Женщина согнулась, но не закричала.

— Врешь! Я видел! Вчера! У моста!

— Я ходила за хлебом.

— За хлебом? — он засмеялся. Смех был страшнее крика. — За хлебом, говоришь?

Он нагнулся, схватил ее за подбородок, задрал лицо к себе. Я увидел его глаза. Маленькие, злые, с красными прожилками. В них не было боли. Не было обиды. Только одно — право. Право делать с ней все, что захочется.

— Я тебя научу, — прошипел он. — Я тебя выучу.

Толпа молчала.

Я стоял и смотрел. Что-то внутри сжалось. Не жалость — нет. Жалость в Паркине — роскошь, которой никто не владеет. Другое. Понимание. Я знал этого мужика. Я уже убил такого. В переулке у фабрики. Тот был такой же — он чувствовал себя хозяином. Тот тоже думал, что имеет право.

Я сделал шаг вперед. Кто-то толкнул меня в плечо — кожевник, тот, здоровенный.

— Стой малый, не твое мясо, — буркнул он. — Неверной бабы не жалко.

Я остановился.

Женщина поднялась. Медленно, опираясь на руки. Встала на колени, потом на ноги. Пошатнулась, но устояла. Посмотрела на мужика. В ее глазах не было страха. Только та же усталость.

— Я пойду, — сказала она.

— Что? — он не поверил. — Ты никуда не пойдешь.

— Я пойду, — повторила она. И пошла.

Она сделала два шага. Он схватил ее за плечо, развернул к себе. Занес руку для удара. Женщина не закрылась. Не отшатнулась. Она смотрела на него. И вдруг — коротко, резко — ударила сама.

Пощечина прозвучала, как выстрел.

Толпа ахнула. Кто-то засмеялся. Мужик замер. Кровь отхлынула от лица, потом хлынула обратно, и оно стало багровым, почти черным. Глаза налились бешенством.

— Ты — прохрипел он. — Ты

Он схватил ее за руку, дернул к себе. Женщина не сопротивлялась. Или сил не было. Он потащил ее прочь, волоком, как куль с тряпьем. Она спотыкалась, пыталась удержаться на ногах, но он не сбавлял шага.

Толпа расступилась, так и не дождавшись грязного, смертельного представления. Кто-то проводил взглядом, кто-то уже отвернулся — зрелище кончилось, можно расходиться. Мужик свернул в переулок, и они скрылись между домами.

Я пошел следом.

Не знаю, зачем. Может, хотел понять, кто такие волки. А может, я просто не мог отвести глаз от того, как он сжимал ее руку. Как пальцы вдавливались в кожу. Как она не кричала — молчала, покорная, но каждый шаг давался ей с трудом.

Переулок уводил вглубь квартала мимо заколоченных домов, и единственными живыми здесь оставались крысы, шуршащие в сточной жиже.

Мужик остановился у стены. Отпустил женщину. Она отшатнулась, прижалась спиной к кирпичам. Дышала тяжело.

— Ты чего творишь? — спросила она. Голос дрожал, но она старалась говорить твердо.

— А ты чего? — он шагнул к ней. — Вчера. С кем шлялась?

— Ни с кем.

— Врешь.

— Не вру.

Он ударил ее. Несильно — так, чтобы показать превосходство. Она мотнула головой, но устояла. Подняла глаза. В них не было слез. Только ненависть.

— Я тебя приютил, — сказал он, и голос его стал тише, опаснее. — Забочусь. А ты?

— Я не твоя вещь Сэм.

— Моя Мирида, моя.

Он схватил ее за волосы, дернул вниз. Мирида рухнула, сдирая колени. Он навис над ней, тяжело дыша. В его глазах горело что-то — не похоть, не гнев. Другое. Жгучее, острое. Я видел такое тогда, в переулке у фабрики. Но там была похоть. Здесь — боль. Боль, которая ищет выхода и не находит.

— С кем ты была? — прошипел он, наклоняясь к самому лицу. — Я видел. У моста. Ты с ним обжималась.

— Это хозяин лавки. Я хлеб покупала.

— Хлеб? — он засмеялся. Смех был страшнее крика. — За хлебом, значит?

Он отпустил волосы, отошел на шаг. Мирида осталась на коленях, не поднимаясь. Смотрела на него снизу вверх. В ее взгляде было что-то, чего я не понял сразу. Не страх. Ожидание. Как будто она знала, что будет дальше, и готовилась к этому.

— Я не позволю, — сказал Сэм. Голос сел, стал сиплым. — Не позволю, чтобы ты позорила меня.

Он достал нож.

Лезвие блеснуло в полумраке. Короткое, широкое, с зубринами — таким мясники кромсают туши. Мирида увидела нож и вздрогнула. Впервые за все время — по-настоящему испугалась.

— Не надо, — сказала она тихо. — Пожалуйста.

Он не слушал. Подошел, схватил ее за волосы, запрокинул голову, открывая горло. Она дернулась, но он держал крепко.

— Смотри на меня, — велел он. — Смотри.

Она смотрела. В ее глазах мелькнуло что-то — не мольба. Удивление. Как будто она до последнего не верила, что он решится.

Он резанул.

Не глубоко. Наискосок, от уха до ключицы. Кровь брызнула не фонтаном — толчками, в такт сердцу. Женщина схватилась за шею руками, захрипела, упала на бок. Ноги задергались. Пальцы скребли землю.

Сэм стоял над ней. Дышал тяжело. Нож в руке дрожал, но он не бросил. Смотрел на то, что сделал. В глазах — пустота. Не раскаяние. Не страх. Опустошение. Как у человека, который только что разрушил свою жизнь и понял это слишком поздно.

Мирида перестала двигаться.

Я стоял в тени, у стены. Он не видел меня. Не слышал. Я смотрел на тело, на кровь, которая растекалась по булыжникам, на его руки, сжимающие нож. В груди поднималось что-то тяжелое, горячее.

Я подошел сзади.

Бесшумно. Как тень. Как смерть. Варлам учил меня этому с детства. Сегодня я понял зачем.

Я схватил его за волосы.

Он дернулся, попытался развернуться, но я уже заломил ему голову, открывая шею.— Ты — хрипнул он.

Я не дал договорить.

В этот момент кинжал вошел в грудь. Прямо в сердце. Я чувствовал, как лезвие проходит между ребер, как рассекает мышцы, как находит то, что искало. Мужик выдохнул — не крик, не хрип, просто воздух из легких. Глаза расширились. Он не удивился. Просто понял. И от этого понимания глаза у него стали как у той девки на ступеньках — пустые и стеклянные. Он понял, что умирает. И я видел, как это понимание заполняет его всего, от глаз до кончиков пальцев.

Я ждал.

Кинжал еще не вышел из груди, а я уже стоял в другом месте. В его башке. Видел не труп у ног, а женское лицо — той, что ушла к другому. Чувствовал не холод металла в руке, а жжение под ребрами, которое он глушил выпивкой и кулаками. Меня не накрыло. Меня выдернуло. Из моего тела — в него. Без перехода.

И там, в этой темноте, я увидел ее.

Женщину.

Не ту, что лежала на земле. Другую. Молодую, с темными волосами, в дешевом платье, которое сидело криво. Она стояла у стены, сжимая в руках узелок. И смотрела на него — на мужика, которого я только что убил.

А потом пришло чувство.

Оно было тяжелым, горячим, оно разливалось от груди к горлу, к глазам. Я узнал его. Похоть. Но не та, что в переулке у фабрики. Другая. Она была острее, злее. В ней не было насыщения. В ней была боль. Жгучая, неутолимая боль, которая требует выхода и не находит его.

Я увидел его руки — не мои, его. Они сжимали край стола, когда он смотрел, как она смеется с другим. Я почувствовал, как его сердце колотится в такт ее шагам — она уходит, не оборачивается, а он стоит и не может двинуться. Я ощутил вкус во рту — желчный, горький. Он пил его днями, неделями, пока тот не стал единственным, что он чувствовал.

Она вошла в меня снизу. От пяток — вверх, через кости, через грудь, до макушки. Не огонь. Лед. Миллиард холодных игл, все одновременно, все вглубь.

Я не закричал. Просто стоял и ждал, пока оно закончится.

Оно не закончилось.

Не жажда власти. Не похоть. Не страх. Ревность. Она жгла его изнутри, превращала в этого зверя, который бьет женщину на глазах у всех, который режет ей горло, потому что она посмела ударить его. Потому что она посмела быть сильнее.

Потому что она, выбрала другого.

Я стоял над телом, сжимая кинжал, и чувствовал, как ревность покидает его — и входит в меня. В груди застрял кол. Чужой. И не вытащить.

Рвоты не было.

Я ждал ее. Чувствовал, как поднимается к горлу, как сжимает желудок. Но я сжал зубы, сжал рукоять кинжала, и она отступила. Медленно, нехотя, как зверь, который уходит, но вернется.

Я вытер лезвие о куртку мертвеца. Кинжал был чистым. Ни капли крови.

Вокруг никого. Тело женщины лежало в луже крови, тело мужика — рядом. Двое. Убийца и жертва. Теперь вместе. Навсегда.

Я пошел прочь. Не к борделю «Лысая берлога». Не к реке. К кладбищу. Ноги передвигались сами, я не управлял ими. В голове пульсировало — ревность, чужая, горячая, не моя. Я сжимал кулаки, сжимал зубы, но она была там. Засела. Как старая крыса в полном амбаре.

Я вошел в склеп. Прошел коридор. Дверь в обеденный зал была открыта — я услышал голоса сестер. Остановился за углом, не показываясь.

— Я была вчера у Калисии, — сказала одна. Голос молодой, звонкий. — Ты видела ее?

— Видела, — ответила другая, постарше. — Она неважно выглядит.

— Она всегда неважно выглядит, — вставила третья. Хихикнула.

— Зато жива, — сказала вторая. — А могла бы

— Зара! — голос четвертой, резкий.

Я выглянул из-за угла. Сестры сидели за длинным столом — четыре женщины в серых платьях, головы покрыты платками. Старшая, Зара, стояла у печи, сжимая в руке половник. Ее лицо было бледным, глаза сузились.

— Все, кто поел, — сказала она тихо, но так, что в зале повисла тишина. — За работу. Ночью к нам пришло пополнение.

Сестры зашевелились, загремели мисками. Зара смотрела на ту, что говорила про Калисию. Молодую, с веснушками на носу.

— И ты, Эмма, — добавила она. — После зайди ко мне.

Эмма побледнела. Кивнула. Быстро вышла из-за стола.

Я сделал шаг. Дверь скрипнула. Все головы повернулись ко мне. Сестры смотрели по-разному. Одна — с любопытством. Другая — с испугом, сразу видно. А третья замерла с тем спокойным, изучающим взглядом, каким глядят на змею или на край обрыва.

Зара отставила половник.

— Граб, — сказала она. — Ты что-то хотел? Ты голоден?

Я вошел. Сестры расступались. Я чувствовал их взгляды на спине, на шее, на шраме.

— Мне нужно — начал я. Голос сел. Я прочистил горло. — Две миски. Для еды. И воды.

— Для собаки? — спросила одна из сестер. Та, что постарше. В ее голосе не было насмешки. Просто вопрос.

— Да.

Зара смотрела на меня долго. Я смотрел в ответ.

— Хорошо, — сказала она. — Принесу.

Я повернулся к выходу. Сделал шаг. Остановился.

— Зара.

— Да?

— Калисия. Кто это?

Тишина стала напряженной. Я чувствовал, как сестры замерли за спиной. Зара не отвела взгляд. Ее лицо не изменилось — ни тени, ни морщинки.

— Этим бездельницам лишь бы пошептаться, — сказала она ровно. — Не знаю, Граб. Бабские сплетни.

Она взяла тряпку, начала вытирать стол. Медленно, тщательно, как будто от этого зависела ее жизнь.

— Миски принесу, — добавила она, не поднимая глаз. — Иди.

Я вышел.

В коридоре я остановился, прижался спиной к холодной стене. Закрыв глаза. Калисия. Красивое имя.

Я открыл глаза. Пошел к своей комнате.

Варлам стоял у двери.

Он не смотрел на меня. Смотрел на дверь, на щель под ней, откуда тянуло теплом и запахом живого зверя. Я остановился. Сердце забилось быстрее. Сегодняшнее убийство. Кинжал, который был холодным утром и стал теплым в моей руке. Женщина. Мужик. Ревность.

— Я — начал я.

Он поднял руку. Я замолчал.

— Впусти, — сказал он.

Я открыл дверь. Щенок лежал на кровати, поднял голову, увидел Варлама — и зарычал. Тихо, неуверенно. Рык перешел в скулеж.

Варлам вошел. Остановился у постели. Смотрел на щенка долго, неподвижно. Щенок смотрел в ответ. Не прятался. Не дрожал. Только хвост поджал.

— Живой, — сказал Варлам. Я кивнул, потому что отрицать очевидное было глупо, а Варлам не тот человек, с которым спорят о фактах.

— Да.

— Ты принес его вчера.

Я молчал. Он знал. Он всегда все знал.

Варлам повернулся ко мне. В его глазах мелькнуло что-то. Не гнев. Не осуждение. Старый отсвет, значение которого я не понимал. Он смотрел на меня, как на книгу, которую читает не в первый раз, но каждый раз находит новое.

— Сегодня ты убил, — сказал он.

Я вздрогнул. Откуда? Он не мог знать. Я никому не говорил. Никто не видел.

— Я чувствую, — сказал Варлам, как будто прочитал мои мысли. — Ты пришел другим. Тяжелее. И пахнет от тебя не склепом.

Он замолчал. Ждал.

— Я убил, — сказал я. — Он издевался над женщиной, на глазах у всех. Потом убил ее. А потом, я убил его. Я подошел сзади. Он не видел.

Он посмотрел на щенка. Тот уже не рычал. Смотрел на Варлама настороженно, но без страха.

— Ты хочешь оставить его, — сказал Варлам.

— Да.

— Склеп — не место для живых.

— Я был здесь.

Варлам смотрел на меня долго. В его взгляде мелькнуло что-то — удивление? Уважение?

— Ты был здесь, — повторил он. — И ты жив. Или не жив. Кто знает.

Он протянул руку. Я напрягся. Но Варлам не коснулся меня. Он погладил щенка по голове. Тот лизнул его пальцы.

— Если сама смерть решает, что время не пришло, — сказал Варлам тихо, — как я могу противиться, мальчик мой?

Он убрал руку. Щенок проводил его взглядом.

— Ты оставил одну жизнь, — сказал Варлам, глядя мне в глаза. — И взял взамен другую.

В склепе всегда знали: смерть не терпит пустоты.

Он пошел к выходу. У двери остановился.

— Корми его. Но не балуй. Живое в склепе должно помнить, где находится.

Дверь закрылась.

Я стоял посреди комнаты, сжимая кулаки. Сердце колотилось. Я ждал наказания. Ждал, что он спросит про Лютого, про волка, про перстень. Не спросил. Или не захотел. Или не знал.

Щенок заснул. Я подошел, сел на край постели. Он положил морду мне на колени. Глаза закрылись. Дышал ровно.

Я смотрел на дверь. Я вспомнил сон. Волки. Темные морды. Желтые глаза. Перстень, который сжимает чья-то рука.

Скрип. Дверь открылась снова. На пороге появилась Зара, в руках две железные миски, одна с водой, в другой мясной бульон с размоченными старыми сухарями.

— Уже назвал? — спросила Зара, опуская миски на пол.

Я молчал. Погладил щенка. Он вздохнул во сне со стоном от боли.

— Стон, — ответил я.

Она посмотрела на меня странно. Но ничего не сказала.

В Паркине ни кого не удивишь таким именем.

Она вышла.

Кинжал за поясом был теплым. Он пульсировал в такт моему сердцу. Или не моему.

Глава 5. Голоса

Я долго ворочался на своей кровати.

Стон сладко сопел после мясного бульона. Лапа, та, что была сломана, теперь лежала вытянутой, без той судорожной скованности, с которой он держал ее в первый день. Я смотрел на него и думал, как быстро живое цепляется за жизнь. Даже когда от него ничего не зависит.

По моим ощущениям была глубокая ночь.

В склепе время измеряется не так, как наверху. Здесь нет рассветов и закатов, нет колоколов, отбивающих часы. Только свечи, которые сестры меняют, когда те догорают до половины. Я лежал, смотрел в потолок, и мысли текли сами. О Лине. О женщине, которую зарезал ее мужчина. О ревности, которая до сих пор сидела где-то под ребрами, чужая, но уже привычная. О Варламе, который знал, что я убил, даже не спросив.

Я думал обо всем и ни о чем одновременно.

На короткое мгновение я уже был между безграничными фантазиями мира закрытых глаз и явью, в том неизведанном моменте, где сны еще не начались, а тело уже отпустило день. Это было похоже на теплое течение — медленное, невесомое, обещающее провалиться в темноту без сновидений.

А потом стук вырвал меня оттуда.

Я сел. Сердце стучало, но не от страха — от резкости. В тишине склепа любой звук кажется громче, чем он есть. Но этот был настоящим. Я прислушался.

И тогда я услышал крик.

Далекий. Женский. Он шел откуда-то снизу, глухой, придавленный толщей камня. Не разобрать слов — только тембр, только боль, которая пробивалась сквозь стены, как вода сквозь плотину.

Казалось, он прямо подо мной. Под полом. В глубине.

Стон открыл глаза и наострил уши. Маленькая морда повернулась к двери, уши встали торчком, хотя одно еще висело, не оклемалось до конца. Он смотрел в темноту за порогом и не скулил. Слушал.

Я посмотрел на него.

Значит, это не сон. Не показалось.

Я встал. Стон проводил меня взглядом, но с места не двинулся — только повернул голову, следя за каждым моим движением. Я натянул штаны, сунул ноги в сапоги. Рубаху надел уже на ходу. Кинжал за поясом был теплым. Не горячим — просто живым, как всегда.

— Сиди, — сказал я Стону тихо. — Тихо.

Он моргнул. Не понял, наверное. Или понял, но не согласился. Я прикрыл дверь и пошел в коридор.

Факел горел в железном кольце на стене, прямо у моей комнаты. Я вытащил его — сестры всегда обновляли их и поддерживали, чтобы склеп не погружался в полную тьму. Свет качнулся, тени метнулись по стенам, и я пошел.

Без цели. Просто пошел.

Я миновал кельи сестер — все двери глухи, ни звука. У комнаты Варлама, где хранились книги, остановился: из-под двери не пробивалось света, но пахло не так как обычно. Свежим деревом. Или я принялся.

Но что-то внутри меня не пускало туда.

Не мысль. Не решение. Просто тяга. Как будто за грудиной кто-то натянул нить и тянул, тянул, не давая свернуть. Я шел за ней, сам не зная куда.

Коридоры были пусты. Все спали.

Я бродил по склепу, но кроме пустоты не встретил никого. Только тени от факела прыгали по стенам, и мои собственные шаги возвращались ко мне эхом, глухим, коротким, будто кто-то шел следом и останавливался, когда я оборачивался.

Я не знал, куда иду. Просто ставил ногу за ногой, и нить внутри вела меня, обещая что-то, чего я не мог назвать.

Так я оказался у двери в южный зал.

Я узнал ее сразу. Железное полотно, массивное, с засовом, который мог сдвинуть только Варлам. В прошлый раз, когда я приходил сюда, она была открыта. Распахнута настежь, приглашая внутрь. Тогда я впервые увидел алтарь, впервые взял в руки кинжал, который теперь всегда был со мной.

Сейчас дверь была закрыта.

Я остановился. Факел в руке коптил, маслянистый дым тянулся к потолку, скапливаясь под сводом. Я стоял и смотрел на железное полотно. Ничего особенного. Обычная дверь. Такая же, как десяток других в этом склепе.

Но что-то не пускало меня дальше.

Я попробовал открыть.

Засов не двинулся. Я нажал сильнее — железо даже не скрипнуло. Закрыто. Намертво.

Я приложил ухо к холодному металлу. Железное полотно молчало. Ни звука. Ни шороха. Ни дыхания. Только глухая, тяжелая тишина, которая бывает в глубоких колодцах и замурованных склепах.

Я закрыл глаза.

Не знаю, что я хотел уловить. Услышать. Или, может быть, понять. Я стоял так, наверное, долго. Секунды. Минуты. Время в темноте теряет смысл. Я просто слушал пустоту и ждал, что она ответит.

Она не ответила.

Резкий, неожиданный рык ударил в спину, выдернул из оцепенения.

Я обернулся. Стон стоял в конце коридора, маленький, взъерошенный, с поджатым хвостом. Лапа, та, что была сломана, висела в воздухе, он не опирался на нее, но стоял. И лаял.

Не на меня.

Он смотрел прямо на дверь. На железное полотно. Оскалился — морда смешная, зубы мелкие, но в этом оскале было что-то серьезное, что-то настоящее. Он рычал, как взрослый пес, который чует зверя.

— Ах ты мелкий засранец, — сказал я тихо. — Я же просил тебя не выходить.

Я подошел, наклонился. Стон не оборачивался. Стоял и смотрел на дверь, и рычание не прекращалось, даже когда я взял его на руки. Он был легким — слишком легким — и весь дрожал. Но не от страха. От напряжения.

Я поднял его, прижал к груди. Он уперся лапами мне в плечо и продолжал смотреть туда, на закрытую дверь, пока я уносил его прочь.

В коридоре я обернулся. Дверь стояла на месте. Закрытая. Немая.

Я вернулся в свою комнату. Стон все еще смотрел в ту сторону, откуда мы пришли, даже когда я закрыл за собой дверь.

— Ты быстро приходишь в себя, малыш, — сказал я.

Поставил его на пол. Он постоял секунду, принюхался к углу, потом подошел к миске с водой. Попил долго, часто, высунув язык. А потом запрыгнул ко мне на кровать.

Нагло сунул свою голову мне под руку.

Я не убрал руку. Он вздохнул — тяжело, по-человечески, всем телом — и засопел. Лапа, та, что болела, теперь лежала на моем предплечье, и я чувствовал, как под шерстью стучит его маленькое сердце. Часто. Живо.

Я лежал и смотрел в потолок.

Крик. Стук. Дверь, которая закрыта. Стон, который рычал на пустоту.
Я вспомнил, как в тот раз, когда я шел на задание, дверь в южный зал была открыта.
Варлам ждал меня там. Алтарь. Кинжал. Посвящение.
Сегодня она была закрыта.
Я закрыл глаза. Перед ними все еще стояло железное полотно. Холодное. Немое. Неподатливое.
Кто-то кричал там, внизу. Под полом. В глубине.
Или я схожу с ума? Или мы сходим с ума? Стон? Ты со мной?
Я погрузился во тьму.

Глава 6. Пустая комната

Я шел в сторону кухни, ориентируясь на запахи. В склепе они всегда жили своей жизнью — трупный, сырой камень, и вдруг, как удар, горячий пар от похлебки, плесневатый дух черствого хлеба. Значит, обед.

Подходя к столовой, я сбавил шаг. Это уже не было осознанным решением — просто ноги сами стали ступать тише, когда я услышал, что за дверью нет ни звука.

Ни сплетен. Ни разговоров. Ни даже звона ложек о миски.

Тишина была гробовая, я чувствовал: если сейчас войду, она заскрипит, словно сдвинули могильную плиту, и все головы повернутся ко мне. Я выглянул из-за косяка.

Восемь сестер сидели за двумя столами. Обычно их было больше.

Зара разливала похлебку у дальней стены, двигалась плавно, как рыба в мутной воде. Остальные жевали, молча, глядя в тарелки. Я пробежал взглядом по лицам. Знакомые, привычные, те, что я видел каждый день годами. И одной не хватало.

Эмма.

Я вспомнил ее сразу — та, с веснушками на носу, которая вчера хихикнула за столом, пока Зара не осадил ее. Молоденькая, смешливая. Ее не было.

Я вошел. Тишина скрипнула именно так, как я ожидал — все головы поднялись, на секунду повисло движение, а потом снова опустились. Я сел на свободную лавку. Зара поставила передо мной миску. Пар шел густой, теплый, пах луком и травами.

— Граб, — сказала она, не глядя на меня. — Зайди к Варламу. Он просил передать, что будет ждать в комнате с книгами.

— Хорошо Зара.

Я взял ложку, помешал похлебку. Она была горячей, густой, но кусок не лез в горло. Я отломил хлеба, обмакнул в бульон.

— Зара.

Она замерла на секунду, потом продолжила вытирать край стола тряпкой.

— А где Эмма?

Я сказал это как можно равнодушнее. Даже улыбнулся краем рта, будто спрашиваю просто так, от нечего делать.

— У нее еще веснушки на носу. Молоденькая такая.

Тишина стала другой. Я не видел лиц сестер — они сидели ко мне спинами или вполоборота, но я чувствовал, как они замерли. Ложки перестали звенеть. Кто-то перестал жевать.

Зара положила тряпку. Повернулась ко мне. Лицо у нее было спокойное, ровное, как всегда. Но глаза — в них было что-то, чего я не мог прочесть. Не страх или гнев. Предупреждение.

— Граб, ты знаешь правила, — сказала она тихо. — Сестрам запрещено

— Да-да, знаю, — перебил я. Голос прозвучал резче, чем я хотел. — Знаю про правила и так далее и все такое.

Я уставился в миску, подцепил ложкой кусок моркови, размял ее о край. Морковь развалилась, окрасила бульон оранжевым.

— Спасибо, — сказал я, не поднимая глаз. — И для Стона наложи, пожалуйста.

Зара ничего не ответила. Я слышал, как она отошла к печи, как загремела посудой. Когда я поднял голову, она уже ставила на край стола вторую миску — с мясным бульоном и размоченными сухарями. Точно такую же, как вчера.

Я взял обе миски и вышел.

Коридор встретил меня тем же полумраком, теми же факелами, которые горели ровно, без треска. Я прошел мимо келий сестер, и когда поравнялся с той, где, как я полагал, жила Эмма, ноги остановились сами.

Дверь была приоткрыта.

Я замер. Прислушался. Ни звука. Поставил миски на пол. Толкнул дверь плечом — она открылась легко, без скрипа.

Внутри было пусто.

Не то чтобы не было вещей — их просто никогда здесь не было. Кровать застелена серым одеялом, на столе — ничего, на стенах — ничего. Ни платка, забытого на спинке стула. Ни кружки с водой. Ни даже той мелочи, которая всегда скапливается у человека за несколько дней.

Я вошел внутрь. Огляделся.

Кровать была застелена так, как застилают пустую комнату. Аккуратно, жестко, без единой складки. На подушке не осталось вмятины от головы. На полу — ни соринки. Я провел пальцем по столу — ни пылинки.

Словно здесь никогда никто не жил.

Я сел на край кровати. Пружины не скрипнули — может, потому что я был легким, а может, потому что кровать была новой. Или просто ничье тело не продавило ее до меня.

Я сидел и смотрел на пустой стол, на пустые стены, на пустую комнату. В голове крутилось: вчера она смеялась. Вчера Зара сказала ей: «После зайди ко мне». И все.

Я вспомнил тот разговор у столовой. «Я была у Калисии», — сказала тогда Эмма. И Зара оборвала ее. А потом — «зайди ко мне».

Теперь комната пустая.

Я поднялся. Вышел, прикрыл дверь. Взял миски. В коридоре постоял секунду, прислушиваясь к себе. В груди было пусто. Просто тишина. Как в этой комнате.

Стон встретил меня скулежом. Я поставил миски на пол, он сразу сунул морду в бульон, захлебал громко, жадно. Лапа, сломанная, уже почти не болела — он опирался на нее, когда ел, и даже не морщился.

Я сел на кровать, смотрел, как он ест. Маленький, грязный, с висячим ухом и глазами, которые смотрели на мир так, будто он уже видел все самое худшее и теперь просто ждал, что будет дальше. Нужно его отмыть, как следует, пронеслась где-то в дали мысль.

— Знаешь, Стон, — сказал я тихо. — Я спросил про одну сестру. Ее звали Эмма. Она была молодая, с веснушками.

Он поднял голову. На морде — бульон, глаза внимательные.

— Теперь ее комната пустая.

Стон моргнул. Склонил голову набок. Я погладил его по спине — ребра все еще выпирали, но уже не так остро, как в первый день.

— Варлам ждет, — сказал я. — Я скоро вернусь.

Он проводил меня взглядом до двери, но с места не двинулся. Только уши встали торчком, когда я вышел.

Кабинет Варлама — если это слово вообще подходило к комнате, где нельзя было сделать и трех шагов, не задев локтем стопку книг — находился в северной части склепа. Дверь была приоткрыта, из-за нее сочился желтый свет масляной лампы. Я толкнул створку, протиснулся внутрь.

Книги были везде. На полках от пола до потолка, на столе, на подоконнике — хотя окна здесь не было, только ниша в стене, заложённая камнем. Запах древности. Старый пергамент, кожа переплетов и что-то едва уловимое, аромат который я всегда чувствовал рядом с Варламом. Не старых трупов. Что-то другое. Может, сама смерть пахнет так, когда прячется между страницами.

Варлам сидел за узким столом, склонившись над раскрытым фолиантом. Пальцы лежали на странице, не переворачивали, не водили по строкам — просто лежали. Я вошел, и он не поднял головы сразу. Дал мне постоять секунду, другую. Я смотрел на его руки. Желтоватые ногти, тонкие морщины на костяшках. Ни одного кольца.

— Ты пришел, — сказал он, наконец. Поднял глаза.

Уставшие. Спокойные. Тяжелые. Он смотрел на меня как на книгу, которую нужно пере-читать, а может и вовсе переписать.

— Граб, сын мой.

Он откинулся на спинку стула. Стул скрипнул — старый, разохшийся, как все в этом склепе.

— Ты достаточно отдохнул?

Я кивнул. Не знал, что ответить. Отдых — это когда Стон сопит у тебя под боком, когда ты смотришь в потолок и не думаешь ни о чем? Или когда ты не убиваешь три дня подряд?

Варлам сложил руки на груди. Пальцы сцепились.

— У нас есть дело. Оно не требует отлагательств.

Он замолчал. Я ждал. Варлам никогда не торопился. Он выдерживал паузы так, будто слова были тяжелыми, и их нужно было поднимать по одному.

— Культ нуждается в тебе, мальчик. Ты готов исполнить священное знамение? Волю лика?

Пальцы моей правой руки сжались сами. Я даже не думал об этом — просто они сжали рукоять кинжала за поясом. И я почувствовал.

Он был холодным.

Не просто прохладным, как железо в подземелье. Холодным. Мертвым. Таким холодным бывает тело, которое остыло давно, не вчера и не сегодня, а так давно, что само железо забыло, что такое тепло.

Я сжал сильнее. Ничего. Ни пульсации, ни того теплого, живого трепета, который я чувствовал раньше. Просто кусок металла.

— Да, — сказал я. Голос прозвучал ровно. — Я готов.

Варлам улыбнулся. Не губами — глазами. Они загорелись тем особенным светом, который я видел только в моменты, когда он смотрел на мертвых. Или на меня. Он смотрел на меня сейчас так, будто я был не человеком, не мальчиком, которого он растил восемнадцать лет. Будто я был чем-то большим. Будто я был богом, которого он создал своими руками.

В его взгляде было что-то, от чего мне захотелось опустить глаза. Я не опустил.

— Сегодня утром в Паркин прибыл человек, — сказал Варлам, и его голос стал тише, почти шепотом. — Он из высокой политики. Большой человек. Завтра будет ужин, его посетит наш правитель, Аркан.

Он выдержал паузу. Я смотрел на него, ждал. В груди начало разгораться что-то — волнение? Интерес?

— Так вот, Граб, — Варлам подался вперед, локти на стол, пальцы сцепились под подбородком. — Этот человек не должен покинуть Паркин.

Он замолчал. Смотрел на меня. Ждал.

— Но самое главное, — добавил он, и в голосе появилась та мягкость, которую я знал с детства, когда он читал мне книги или поправлял повязку на ране. — Это не должно выглядеть убийством.

Я молчал. Переваривал. Большой человек. Правитель Аркан. Ужин. И я должен сделать так, чтобы его смерть не выглядела убийством.

— Но как это связано с нами? — спросил я. — С культом?

Вопрос вылетел раньше, чем я успел его обдумать. Я увидел, как брови Варлама дрогнули. Самую малость. На секунду его лицо стало чужим — не отцовским, не наставническим. Холодным. Расчетливым.

Но это длилось мгновение. Потом его глаза снова стали теплыми, тяжелыми, и он откинулся на спинку стула, сложил руки на груди.

— Граб, если власть в Паркине сменится, — сказал он медленно, растягивая слова, будто пробовал их на вкус, — то нашему культу грозят страшные последствия.

Он помолчал.

— Этого просто нельзя допустить.

Я ждал продолжения. Варлам смотрел на меня, и я понял, что он сказал все, что хотел. Или все, что мог сказать сейчас.

— Возможно позже, — добавил он, и в голосе появилась та нотка, которая не терпела возражений, — ты и сам все поймешь.

Он взял со стола какой-то лист, сложенный вчетверо, протянул мне.

— Все, что тебе нужно, в твоей комнате. Иди, подготовься.

Я взял лист. Бумага была шершавой, незнакомой — не из тех, что водились в склепе. Я развернул, хотел прочитать, но Варлам поднял руку.

— Не здесь. Потом.

Я кивнул. Сунул лист за пазуху. Развернулся к двери. Рука легла на холодную железную ручку.

— Граб.

Я остановился. Не обернулся.

— Я помню, — сказал я.

И вышел.

В коридоре я прислонился спиной к стене. Камень был холодным, сырым, и этот холод просачивался сквозь рубаху, сквозь кожу, добирался до позвоночника. Я закрыл глаза.

Помни, кто ты.

Я — Граб. Мертвый младенец с перерезанным горлом, который почему-то открыл глаза. Я — тот, кого Варлам называет ликом смерти. Я — тот, кто чувствует чужие мотивы, когда забирает жизнь.

Но сейчас, стоя в коридоре, прижавшись спиной к холодному камню, я чувствовал только одно.

Я не знал, кто я.

Раньше, до того переулка, до Лютого, до ревнивого мужа с ножом — я знал. Я был тем, кем меня сделал Варлам. Его оружие. Его дитя. Его воплощение смерти.

Теперь я не был уверен ни в чем.

Я достал кинжал из-за пояса. Посмотрел на него в свете факела. Лезвие было тусклым, матовым. Не блестело. Не отражало огня. Рукоять с черепом — холодная, мертвая.

— Ты чего? — спросил я шепотом.

Кинжал молчал.

Я сунул его обратно. Пошел к своей комнате.

Стон спал, свернувшись калачиком на моей подушке. Миски были пусты, вылизаны дочиста. Он поднял голову, когда я вошел, вильнул хвостом раз, другой, но вставать не стал — устал, наверное, или просто понял, что я свой и можно не суетиться.

Я сел на край кровати. Достал лист, который дал Варлам.

Развернул.

Бумага была плотной, с водяными знаками — такие используют богатые купцы или государственные писари. Я пробежал глазами по строчкам. Имена, даты, место. Описание чело-

века: рост, возраст, цвет волос, приметы. Особые приметы: шрам над левой бровью, говорит с легким южным акцентом.

Внизу — схема улиц. Помечено, откуда он прибудет, где будет стоять его карета, какие двери охраняются, какие нет.

Я перечитал все дважды. Потом сложил лист, сунул под подушку.

На тумбочке аккуратной стопкой лежала одежда, новая. По виду, очень дорогая. Кто, а главное когда ее принес?

Стон открыл один глаз, посмотрел на меня. Я погладил его по голове, по висячему уху, по шее, где шерсть была мягче, чем везде. Он вздохнул, закрыл глаз, положил морду мне на колено.

Я смотрел на него. Маленький, живой. Он верил мне. Не потому, что я лик смерти. Не потому, что я могу убить. А потому, что я подобрал его, принес в тепло, накормил.

В груди шевельнулось что-то. Не холод кинжала. Не пустота комнаты Эммы. Тепло. От него. От меня.

Я положил руку на живот. Кинжал за поясом был холодным. Стон на коленях — теплым. — Я помню, — сказал я тихо. Не Варламу. Себе.

Но что именно я помнил — я не знал. Или знал, но боялся признаться.

Я лег на кровать, рядом со Стоном. Он подвинулся, уткнулся носом мне в шею, в шрам. Засопел.

В темноте я смотрел в потолок и думал о пустой комнате. О девушке с веснушками, которая спросила про Калисию. О Заре, которая сказала «зайди ко мне». О Варламе, который смотрел на меня как на бога.

Калисия.

Красивое имя. Я слышал его впервые. Или не впервые? Где-то в глубине памяти, там, где нет слов, только ощущения — может, я знал его раньше. Может, это имя ждало меня, как ждала та дверь в южный зал, которая сегодня была закрыта.

Стон вздохнул во сне. Я закрыл глаза.

Завтра я убью человека. Большого человека. Того, кто связан с Арканом, с властью, с тем, что происходит в Паркине. Я сделаю это так, чтобы никто не понял, что это убийство.

А послезавтра, может быть, я узнаю, что случилось с девушкой, которая смеялась за обедом. И кто такая Калисия. И почему в склепе есть комнаты, которых будто никогда не существовало.

Лина. Волки. Перстень.

Кинжал за поясом был холодным. Но Стон, свернувшийся калачиком у моего горла, был теплым. И этого хватало, чтобы не провалиться в темноту окончательно.

Я уснул под его дыхание. Ровное, живое, обещающее, что утро наступит.

Даже если оно принесет смерть.

Глава 7. Пуговица

Я открыл глаза.

«Это не должно выглядеть как убийство».

Фраза висела в темноте надо мной, еще до того, как я вспомнил, кто я, где я, зачем проснулся. Она пришла первой. Остальное пришло потом.

Стон возился в ногах. Я пошевелил ступней — он лизнул пятку и засопел дальше. Живой. На тумбочке лежала одежда. Я сел, потер лицо ладонями. Кожа была холодной — как всегда по утрам в склепе.

Куртка из плотной темной ткани, почти черной, с серебряными пуговицами. Штаны из мягкой кожи — не той, что носят в Нижнем городе, а дорогой, выделанной так, что она не скрипела. Сапоги с крепкой подошвой, внутри — мех. Я надевал все это медленно, чувствуя, как чужая одежда облегает мое тело. Как будто не я, а кто-то другой натянул на меня свою шкуру.

Кинжал за поясом. Холодный.

Я провел пальцем по лезвию — металл не ответил. Ни пульсации, ни тепла. Мертвый кусок железа. Варлам не дал яда. Не дал плана. Он сказал лишь: «Смерть должна прийти сама».

Стон сидел на кровати и смотрел на меня. Уши торчком, хвост не вилял. Просто смотрел. В его глазах — светилось внимание. Как будто он знал что-то, чего не знал я.

— Я вернусь, — сказал я.

Он моргнул. Я вышел.

Коридоры склепа были пусты. Факелы догорали, коптели, и маслянистый дым тянулся к потолку, смешиваясь с запахом сырой земли. Я прошел мимо келий сестер — ни звука, ни света из-под дверей. Мимо комнаты Варлама. Там тоже тихо.

Кладбище встретило меня серым утром.

Туман лежал низко, между могильных плит, цеплялся за кресты, обволакивал надгробья. Трава была мокрой, сапоги взяли в земле. Я постоял минуту, глядя на город внизу.

Паркин дышал. Дым над трубами, далекий звон колоколов, крики торговков на Рыбном ряду — все это поднималось снизу, тяжелое, густое, как тесто.

Я пошел туда.

Верхний город пах иначе.

Я перешел мост, миновал стражу у ворот — они даже не посмотрели на меня. Здесь воздух был другим. Не чистым — чистого в Паркине не бывает. Но другим. Дорогие духи из открытых окон, лошадиный навоз на мостовой, горячее масло из кухонь богатых домов. И тишина. Не та, гробовая, как в склепе. А злая, настроженная. Тишина, которая смотрит на тебя и решает, свой ты или чужой.

Обособник я нашел сразу.

Три этажа, серый камень, колонны у входа с вычурными капителями. На окнах — ставни с резьбой, за ними — тяжелые портьеры. У ворот — стража. Не городская, своя. Четверо в кожаных куртках, с мечами на поясах. Скучали. Один ковырял в зубах щепкой, другой перебрасывался с третьим короткими фразами, четвертый просто смотрел в пустоту.

Я прошел мимо, свернул за угол. За домами — узкий проход, забитый мусором. Оттуда можно было выйти к задней стене особняка. Но в проходе стояли двое — стражники в той же форме, что у ворот. Один курил, другой сидел на ящике, чистил ноготь ножом.

Я отступил.

Попробовал с другой стороны — там был глухой забор с битым стеклом сверху. Перелезть — шум, кровь, внимание.

Я вернулся к главной улице. Встал в тени подворотни, напротив ворот. Ждал.

Мимо проходили люди. Кто-то спешил, кто-то тащил тележку с овощами, кто-то просто брел, глядя под ноги. Я смотрел на ворота, на стражу, на окна особняка. Внутри что-то подсказывало: просто так не войти.

Варлам сказал: «Смерть должна прийти сама». Но он не сказал, как ей пройти через четверых с мечами.

Я ждал. Минут двадцать. Может, больше.

Потом из боковой двери особняка вышел слуга. Молодой, почти мальчик, в грязном фартуке поверх ливреи. Он вынес ведро с помоями, выплеснул в сточную канаву, поставил ведро у стены и полез в карман за чем-то. Из кармана выпала монета — медяк, покатился по булыжникам. Мальчик чертыхнулся, нагнулся, поймал. Сунул в рот, проверил на зуб, сплюнул, спрятал обратно. Потом зевнул, почесал живот и скрылся обратно.

Я подошел к тому месту, где он стоял. Ведро. Стена. Мусорная куча.

Я поднял крышку ведра. Внутри — рыбные головы, капустные листья, какая-то жижа. Разило кислым, протухшим.

Я снял куртку — ту, дорогую, с серебряными пуговицами. Снял штаны, сапоги. Все это запахнул в мусорную кучу, присыпал. Остался в своей рубахе и старых штанах — тех, что были под дорогой одеждой. Я специально надел их утром, сам не зная зачем. Или зная.

Я взял ведро. Поднял его, перехватил поудобнее. Жижа плеснула на рубаху, на руки. Холодная, липкая. Воняло так, что слезились глаза.

Я пошел к воротам.

Стража посмотрела на меня. Тот, что ковырял в зубах, скривился.

— Ты откуда?

— Из кухни, — сказал я, не глядя ему в глаза. Голос прозвучал глухо, как у человека, который привык, что на него не смотрят. — Ведро отнести велели.

Он поморщился, махнул рукой.

— Иди, да не стой тут. Воняешь.

Я прошел.

Двор за воротами был вымощен камнем. Слева — конюшня, справа — лестница вниз, к кухне. Оттуда доносился шум, звон посуды, крики. Я спустился.

Кухня была огромной. Три очага горели одновременно, над ними шипело, пыхтело, булькало. Четверо поварят резали овощи, две женщины месили тесто, мужик в засаленном фартуке разделял тушу — мясо хрустело под ножом, отходило от кости с чавканьем. В воздухе висело: жареное, пареное, сырое. И запах пота — здесь работали с утра, без остановки.

Я вошел с ведром, и меня сразу окликнули.

— Эй! Ты! Куда прешь?

Женщина у печи. Лицо красное от жара, руки в тесте. Она смотрела на меня с тем выражением, с каким смотрят на залетную муху.

— Ведро принес, — сказал я.

— Поставь у входа и дуй отсюда. У нас своих дел полно.

Я поставил ведро. Не ушел. Отошел к столу, где резали овощи. Взял нож, начал чистить морковь. Руки двигались сами — Варлам учил меня не только убивать. Поваренок рядом покопился, но ничего не сказал.

— Ты чей? — спросила женщина от печи.

— Новый, — буркнул я, не поднимая глаз.

— С каких пор?

— Сегодня.

Она хотела что-то сказать, но в этот момент дверь на лестницу распахнулась, и в кухню влетел человек в чистой ливрее. Без фартука, без пятен. Управляющий.

— Вино! — крикнул он. — К столу! Живо!

Все задвигались. Поварята бросили ножи, кто-то побежал в подвал, кто-то схватил поднос. Я тоже двинулся — не к вину, к лестнице. Но у ступеней меня перехватила рука.

— Ты куда? — мужик, тот, что разделявал мясо. Пальцы в крови, нож в другой руке.

— Помочь, — сказал я.

— Помощник нашелся. Иди, мясо отнеси в кладовую. Вон, в тазу.

Он кивнул в угол, где в медном тазу лежали обрезки — жилы, шкура, кости. Оттуда тянуло холодным, уже несвежим.

Я взял таз. Он был тяжелым, край врезался в ладони. Я понес в кладовую — узкую комнату без окон, где на крюках висели туши. Повесил таз, вышел. В коридоре никого.

Я поднялся по лестнице.

Первый этаж встретил меня тишиной. Здесь уже не пахло едой — только воском, полированным деревом и теми дорогими духами, что тянулись с улицы. Коридоры были широкими, стены в тяжелых рамах. Я шел медленно, стараясь не стучать сапогами по паркету.

На лестнице на второй этаж стоял охранник.

Не из тех, что у ворот. Этот был в хорошем камзоле, с коротким мечом на поясе. Стоял расслабленно, но я видел: смотрит по сторонам не зря. Я замер за углом.

Сзади слышались шаги. Быстрые, легкие. Кто-то бежал по коридору. Я прижался к стене. Мимо пробежала девушка — служанка, с чистой салфеткой в руках. Она свернула к лестнице, и охранник пропустил ее, даже не глядя. Своя.

Я ждал. Минуту. Две. Шаги наверху, голоса, хлопанье дверей. И вдруг — шум снаружи. Крики, топот лошадей.

— Карета! — донеслось с улицы. — Аркан подъезжает!

Охранник на лестнице оживился, шагнул вперед, выглянул в окно. Я вышел из-за угла. Прошел мимо него — быстро, не бегом, но и не той медленной походкой слуги, которой шел раньше. Уверенно, как человек, который знает, куда идет.

— Эй, — окликнул он.

Я не остановился. Поднялся на три ступени.

— Ты чей? — голос стал жестче. — Стой.

Я замер. Повернулся. Посмотрел на него снизу вверх.

— От управляющего, — сказал я. — К господину. Спросить, когда подавать.

Он смотрел на меня. Взгляд скользнул по лицу, по рубахе — грязной, в пятнах, по рукам — в чем-то липком. Я не отвел глаз.

— Управляющий? — переспросил он. — Какой?

— Тот, с усами, — сказал я. — Не знаю имени.

Он помедлил. Крики снаружи стали громче, лошади ржали, кто-то командовал. Охранник глянул в сторону окна, потом на меня. Решал. Я стоял, не двигаясь.

— Иди, — бросил он. — Но быстро. И без глупостей.

Я кивнул. Повернулся и пошел вверх. Спиной чувствовал его взгляд, но не обернулся.

Второй этаж. Коридор шире, ковры на полу, картины на стенах — портреты давно мертвых людей с одинаковыми глазами. Я прошел вперед, прислушиваясь. Где-то справа — голоса, звон посуды. Где-то слева — тишина.

Я свернул налево.

В конце коридора — дверь с позолоченной ручкой. Перед ней суетился слуга — молодой, почти мальчик, с подносом в руках. На подносе — кувшин с вином, бокал, тарелка с фруктами. Он поправлял салфетку, переставлял бокал, снова поправлял. Руки дрожали.

Из двери вышел управляющий — тот, с усами. Посмотрел на мальчика, на поднос.

— Занесешь, поставишь, нальешь и выйдешь, — сказал он, тыча пальцем в грудь слуги. — Ни слова. Ни взгляда. Господин не в духе.

Мальчик кивнул, бледный. Управляющий развернулся и ушел в сторону лестницы.

Я стоял в тени ниши, где стояла ваза с увядшими лилиями. Мальчик постоял секунду, глубоко вздохнул, перехватил поднос удобнее — и тут его кто-то окликнул снизу.

— Ферн! Ферн, ты где?

Голос женский, резкий. Мальчик вздрогнул, чуть не выронил поднос.

— Бегом, кому сказано! Немедленно!

Он заметался. Посмотрел на дверь с позолоченной ручкой, на поднос в руках, на лестницу, откуда доносился голос. Глаза округлились.

Я вышел из ниши.

— Давай я, — сказал я тихо.

Он уставился на меня. Не узнал — но и не спросил, кто я. В его глазах была только паника.

— А если господин

— Я скажу, что тебя срочно позвали. Иди.

Он сунул мне поднос, даже не поблагодарив, и бросился вниз по лестнице. Я слышал, как стучали его подошвы, пока звук не затих где-то в глубине дома.

Я остался один.

Поднос был тяжелым. Серебро. Кувшин из темного стекла, вино внутри — густое, темно-рубиновое. Я взял его, подошел к двери с позолоченной ручкой.

Вдохнул. Выдохнул.

Постучал.

— Войдите, — сказал голос изнутри. Спокойный, низкий, с южным акцентом.

Я вошел.

Комната была большой, с высокими окнами, выходящими в сад. Свет падал серый, сквозь туман, но в камине горел огонь — яркий, живой, бросающий тени на стены. Мебель тяжелая, темного дерева. Стол, заваленный бумагами. Кресло у камина.

И он.

Человек, которого я должен был убить.

Он сидел в кресле, положив ногу на ногу, и смотрел на меня. Лицо — спокойное, чуть бледное, с глубокими морщинами вокруг глаз. Шрам над левой бровью — тонкий, белый, почти незаметный в полумраке. Волосы темные, с проседью на висках. Одет в домашний камзол, расстегнутый у ворота.

— Ставь на стол, — сказал он, кивая в сторону столика у камина.

Я поставил поднос. Налил вино в бокал — медленно, чтобы не капнуть мимо. Протянул ему.

Он взял, не глядя на меня. Сделал глоток. Поморщился — вино было терпким, кислотным.

— Новый? — спросил он, не поднимая глаз. — Я тебя раньше не видел.

— Да, господин, — сказал я. Голос прозвучал ровно, чуть глухо — как у человека, который привык быть незаметным.

Он кивнул. Отставил бокал. Откинулся в кресле, прикрыл глаза. В его позе было что-то усталое, почти болезненное — но не слабость. Скорее тяжесть человека, который привык носить на плечах больше, чем может выдержать.

— Иди, — сказал он. — Через час поднимешься убрать.

Я вышел.

Не ушел далеко. Остался в коридоре, в той же нише с увядшими лилиями. Ждал.

Кинжал за поясом был холодным.

Я ждал, что стоит мне решиться, металл нагреется. Что стоит пролиться крови, в голову ударит чужая память. Как было с Лютым. Так было с тем мужиком в переулке. Смерть говорила со мной.

Но сейчас тишина внутри была абсолютной. Я был в нескольких шагах от него. Стоило провести по его горлу холодным лезвием. Дать по голове, толкнуть в камин или хотя бы выбросить в окно.

Шанс был упущен.

Прошло десять минут. Двадцать.

И вдруг снизу донесся гул. Трубы. Крики. Топот.

— Аркан! Аркан подъехал!

Шум нарастал, как волна. Двери внизу хлопнули. Голоса стали громче, суетливее. Дверь комнаты, где остался господин, распахнулась. Он вышел, поправляя на ходу камзол. Лицо оживилось, суетливая важность сменила усталость. Он направился к парадной лестнице, чтобы встретить правителя лично.

Я последовал за ним, сливаясь с потоком слуг, бегущих встречать гостей.

Лестница была широкой, мраморной. Внизу уже суетилась охрана. Господин спустился на несколько ступеней, оглядываясь. Сзади него спешила девушка с подносом — вино, фрукты, чтобы встретить Аркана достойно. Она торопилась, глаза испуганно бегали.

Я оказался рядом.

Мимо пробежал стражник, толкнул меня в плечо. Я сделал шаг в сторону. Мое плечо было в сантиметре от спины девушки.

Рука замерла.

Внутри что-то сжалось. Я увидел ее профиль — молодая, может, чуть старше Лины. На запястье — тонкий шрам от ожога. Она просто работала. Она не была врагом. Она не была виновата.

Если я толкну ее, она упадет вместе с ним. Она может сломать шею. Может остаться калекой.

«Не трогай живых без нужды», — казалось, шепнул кто-то внутри. Голос Стона? Лины? Мой собственный?

Я остановился. Пальцы разжались.

«Это единственный шанс. Он уйдет. Аркан войдет. Охрана удвоится. Ты не пройдешь сюда снова».

И тогда, сквозь шум суеты, я услышал другой голос. Низкий, тяжелый, голос сырой земли.

«Помни, кто ты, Граб».

Варлам.

Я закрыл глаза на мгновение. В темноте за веками не было ни Лины, ни щенка. Только холодный камень склепа. Только кинжал, который не греет.

«Я — лик смерти», — подумал я. Мысль была острой, как лезвие. «Смерть не убивает, для нее и так все мертвы».

Мое плечо коснулось спины девушки. Легко. Почти незаметно. Но достаточно, чтобы сбить ритм.

Она оступилась. Взмахнула руками. Поднос выскользнул из рук, звон стекла разрезал воздух. Вино плеснуло мне в лицо, я на секунду ослеп, а когда проморгался — девушка летела вниз, ее ноги запутались в юбках, и она всем весом навалилась на господина. Он не удержался.

Падение было тяжелым, глухим. Они кувыркком катились вниз, пересчитывая затылками ступени.

Крики внизу сменились ужасом.

Я спустился первым. Не помогать — проверять.

Девушка не шевелилась. Господин лежал неподвижно. Голова в обратную сторону, кровь из уха.

— Дорогу! Врача! — кричал я, проталкиваясь к телу, чтобы скрыть свои руки.

Я опустился на колени, схватил его за запястье. Пульса нет. Холодеет на глазах.
И тут я увидел.

Манжет сбился при падении. Пуговица.

Волк, рвущий пасть.

Она была прямо у моих пальцев. Будто сама смерть подставила мне ладонь. Я сжал ее в кулаке, будто проверяя температуру руки, и рывком оторвал. Нить лопнула тихо, заглушенная общим гамом.

— Мертв! — крикнул я, поднимаясь. — Несчастный случай! Он споткнулся!

Я шагнул к арке, ведущей в коридор слуг. Путь преградила тень. Капитан стражи. Высокий. Кожаный доспех начищен до блеска — воняет ворванью и металлом. Глаза цепкие, трезвые. Он не смотрит на лестницу. Смотрит на меня.

— Стой.

Голос тихий. Спокойный. Такой страшнее крика.

— Покажи руки.

Сердце ударило в ребра. Раз. В голове — слова Варлама: «Смерть не бежит. Она уходит». Только смерть сейчас не уходит. Стоит и ждет.

Я вытянул руки. Ладони в красных разводах. Вино. Грязь. Слизь из вазы. В суматохе сойдет за кровь. Капитан взял мое запястье. Пальцы жесткие, сухие. Сжал — кость хрустнула. Наклонился. Понюхал.

От меня несло вином. Потом. Кислятиной помоев.

— Чей?

— Чей? — повторил капитан. Приподнимая мой подбородок, заставляя смотреть в глаза.

Я выдохнул. Постарался, чтобы голос дрожал от страха, а не от напряжения.

— Кухонный. Бежал на крик. Хотел помочь. Господин сорвался.

Он не поверил. Я видел. Взгляд ушел вниз. К поясу. Туда, где под рубахой кинжал. Холодный. Мертвый кусок железа.

— На кухне в таких сапогах не ходят, падаль.

Пауза. Его вторая рука легла на рукоять меча. Лязгнула сталь.

— И пульс у господ не щупают, пока тело теплое.

Вокруг стихло. Слуги обернулись. Охранник у лестницы смотрел на нас. Секунда. Две. Дернись — шум. Побегу — погоня. Ударю — он в броне, а кинжал мертвый.

Ноги подломились сами. Я рухнул на колени. Не играл. Правда, рухнул. Схватился за край его плаща. Лбом в каменный пол. Холодный. Пахнет пылью и чьими-то башмаками.

— Господин капитан я только — голос сел. Плечи затряслись. По-настоящему. Не от страха перед ним. От того, что все может кончиться здесь. Сейчас. Из-за дурацкой оплошности. — Я с кухни. У задних ворот. Меня зовут не помню. Нас не называют.

Молчание. Его дыхание надо мной. Ровное. Тяжелое. Ищет зацепку.

Сверху орали:

— Врача! Кто запер дверь?! Ключ у управляющего! Капитан!

Капитан дернулся. Пальцы на запястье ослабли. На долю секунды.

Но ее хватило. Руки мои были скользкими от вина, помоев и кухонного жира. Я не вырвался — я провалился. Скрутил кисть вниз, используя его же инерцию, и соскользнул с камня, как мокрая тряпка.

Не встал. Не сделал ни шага. Лишь потек в сторону, туда, где уже бушевал потоп.

Сверху разорвали воздух крики. Носилки, чьи-то сапоги, звон разбитого серебра. Я нырнул в этот водоворот. В панике люди смотрят наверх, на лестницу, на кровь. Никто не смотрит под ноги.

Меня толкнули плечом, пнули сапогом по ребру — я не отозвался. Только ссутулился ниже, стал частью пола, частью грязи. Поварята с носилками прошли в сантиметре от спины, даже не заметив, что я плыву рядом с ними, в их слепой зоне.

Я вжался в тень за тяжелым буфетом. Выдохнул. Капитан уже кричал что-то в спину бегущим, но его голос тонул в гаме.

Я был невидим. Как и учил Варлам: «Смерть не бежит. Она растворяется».

Я шел быстро. Не бежал. Быстро. Коридор сужался. Пахло сыростью. Старым деревом. Черный ход. Дверь приоткрыта. Сквозь щель — гарь. Улица. Я проскользнул, не оглядываясь. Дождь. Запах гнили. Переулок. Второй. Третий.

За старой бойней я содрал грязную рубаху. Сунул в мусор. Достал из свертка чистую. Надел. Пуговица лежала в кармане штанов.

Я шел к кладбищу. Внутри стало пусто, как в глазнице черепа на полке в комнате Варлама.

Я убил его. Но ничего не получил.

Кинжал за поясом был холодным. Мертвым. Таким же, как тело, которое я оставил на ступенях.

Варлам ждал у входа в склеп.

Он стоял в тени, руки сложены на груди, лицо спокойное, как и всегда. Черное облачение сливалось с темнотой, только лицо — бледное пятно в сумерках.

Я подошел. Остановился в двух шагах.

Он смотрел на меня долго. Я смотрел в ответ.

— Его убили? — спросил он. Голос был ровным. Но в глазах мелькнуло что-то. Проверка. Он спрашивал не о факте смерти. Он спрашивал о сути. Убили ли его как жертву? Или он ушел сам?

— Несчастный случай, — сказал я. Голос прозвучал ровно. Чужой.

Варлам кивнул. Медленно. Будто взвесил мои слова и нашел их правильными.

Он не спросил про кинжал. Не спросил, что я чувствовал. Может, знал, что я ничего не чувствовал. Может, этого и хотел.

— Иди, отдыхай, — сказал он. — Завтра поговорим.

Я прошел мимо. Он не остановил.

Стон встретил меня у двери. Я открыл — он сидел на кровати, хвост забил по одеялу. Спрыгнул, подбежал, лизнул руку. Потом замер. Поднял морду. Потянул носом — туда, где в кармане лежала пуговица.

Он не зарычал. Не оскалился. Просто понюхал — и отвернулся. Отошел к миске с водой, попил, лег на подстилку. Спиной ко мне.

Я сел на кровать. Достал пуговицу. Положил на ладонь.

Волк, с оскаленной мордой. Старый металл. Глубокая гравировка.

Теперь она была у меня. Я держал ее в руке, и она ничего не говорила.

Я убил человека. Не для того, чтобы защитить. Не для того, чтобы наказать. А потому что Варлам сказал.

И теперь у меня была улика, которую я не мог прочитать. Ключ, который не открывал дверь.

Я сунул пуговицу под подушку. Стон запрыгнул на кровать. Лег рядом со мной. Закрыв глаза.

В темноте я слышал его дыхание — ровное, живое. И свое сердце — оно билось часто, но ровно. Как у всех живых.

Завтра я пойду к Лине. За ответами.

Пуговица лежала под подушкой, давила на затылок, но я не убрал ее. Пусть давит. Я должен помнить.

Я убил волка. И теперь правда умерла вместе с ним.
Но кто-то еще знает. Кто-то носит перстень. Кто-то отдает девок волкам. Кто-то смотрит
на меня из темноты и ждет.
Я найду тебя. Волк.

Глава 8. Крысиная охота

Меня выдернул из сна скулеж.

Не тот, жалобный, с которым Стон засыпал в первые дни, когда ребра торчали, а лапа висела плетью. Другой. Настойчивый. Требовательный. Он сидел на полу у кровати, переминался с передних лап на задние, и смотрел на меня круглыми глазами, в которых плескалась вселенская трагедия.

Я сел. В голове — муть. За окном — та же серость, что и всегда.

— Ты чего?

Стон взвизгнул, крутанулся на месте, едва не наверхнувшись на большую лапу, и потрусил к двери. Остановился. Обернулся. Снова скулеж.

Дошло не сразу. В склепе таких проблем не было — я ходил в отхожее место в дальнем конце коридора, сестры выносили. А он — живой. Живым надо на улицу.

— Понял, — сказал я. — Терпи. Сейчас.

Натянул штаны, рубаху. Стон уже скребся в дверь, поскуливая, и когда я открыл, рванул в коридор, но тут же затормозил, не зная куда бежать. Темнота. Факелы. Запахи, от которых у него шерсть на загривке вставала дыбом. Он прижался к моей ноге и задрал голову.

— На руки? — спросил я.

Он подпрыгнул, царапнув когтями по штанине. Я подхватил его, прижал к груди. От него пахло. Не то чтобы сильно — так, как пахнет живое, которое несколько дней лежало в тепле и зализывало раны. Пси́на. Пыль. Что-то тухленькое.

— Ну и вонища, — сказал я, уткнувшись носом в его загривок. — Как от всего Паркина сразу. Только самую малость получше.

Стон лизнул меня в подбородок. То ли согласился, то ли обиделся — не разобрать.

Я пошел по коридору. Шаги гулкими хлопками разлетались под сводами. Стон вертел головой, принюхивался, и уши у него ходили ходуном — одно торчком, второе все еще висело тряпочкой, не отошло до конца. Смешной. Живой и теплый.

У комнаты Варлама я остановился. Дверь — закрыта. Не приоткрыта, как обычно по утрам, когда он сидел над книгами и ждал, что я зайду. Глухо. Я толкнул плечом — заперто. Из-под двери не тянуло ни светом, ни тем особенным запахом старых страниц и мяты, который всегда висел в его кабинете. Пусто.

Я постоял секунду. Потом пошел дальше.

В столовой было тихо. Только Зара гремела кастрюлями у печи — переставляла, двигала, что-то скребла. Сестер не видно. Столы пустые, лавки задвинуты.

— Зара.

Она не обернулась. Руки продолжали двигаться — взяла горшок, переставила, взяла другой.

— А Варлам где?

— Ушел, — сказала она, не поворачиваясь. — Ночью еще. Не возвращался.

— Куда?

— Не говорит он мне, Граб. И никогда не говорил.

Она поставила горшок на полку, вытерла руки о передник и только потом повернулась. Взгляд упал на Стона. Тот прижал уши, но не зарычал — смотрел настороженно, нюхал воздух.

— Таз нужен, — сказал я. — Горячая вода. И мыло.

Зара подняла бровь.

— Ему, — я кивнул на пса. — Воняет.

Она смотрела на Стона еще секунду. Потом хмыкнула, отвернулась к полке, пошарила рукой и протянула мне серый брусок с темными прожилками.

— Держи. Пригодится. Только таз потом верни.
И улыбнулась. Краем рта. Почти по-человечески.

Мы вышли на кладбище через боковой вход. Стон, оказавшись на земле, тут же задрал лапу у ближайшего надгробия и сделал свои дела с таким сосредоточенным видом, будто решал судьбу империи. Я ждал. Ветер шевелил траву между могилами, сырую, жухлую, пахнущую прелью и камнем. Паркин внизу гудел — далеко, глухо, как больной зуб.

Потом была вода. Таз я поставил прямо на землю у входа в склеп. Стон, поняв, что сейчас будет, попытался сбежать, но я ухватил его за шкурку, мокрого, скользкого, и держал, пока он не смирился. Мыло пенилось плохо, вода быстро стала серой, а Стон — мокрым, взъерошенным и до смешного худым. Ребра все еще выпирали, но уже не так страшно. Лапа, та, что была сломана, теперь касалась земли, хотя он все еще прихрамывал.

Когда я отпустил его, он отбежал на три шага, встряхнулся всем телом — брызги полетели во все стороны, мне в лицо, на могильную плиту, на траву — и замер. Посмотрел на меня. Высунул язык. И завилял хвостом так, что чуть не опрокинулся на бок.

— Ну, раз ты такой бодрый, — сказал я, вытирая лицо рукавом, — пошли, прогуляемся.

Он рванул вперед, прихрамывая, но быстро, тыкаясь носом во все подряд — в корни, в одуванчики, в ржавую оградку. Я пошел за ним.

Я хотел к реке. К тому месту, где сидел раньше, смотрел на воду и думал, что она — единственное чистое, что осталось в этом городе. Но Стон решил иначе.

У поворота к старой плавильне он замер. Уши — торчком оба, даже то, висячее, подтянулось. Нос заходил ходуном. Шерсть на загривке встала.

И он рванул.

Я не сразу понял, за кем. А когда понял — он уже гнал жирную серую крысу вдоль каменного забора, прихрамывая, подпрыгивая, заходясь лаем, который срывался на щенячий визг. Крыса была размером с половину его самого, матерая, с проплешинами на боку. Она метнулась в дыру под забором, Стон сунулся мордой, ударился лбом о камень, отскочил, чихнул и снова залаял.

— Глупый, — сказал я. — Она тебя сама сожрет.

Стон посмотрел на меня. Язык вывалился, дыхание частое, глаза горят. Ему было плевать на мои доводы. Он был счастлив.

Он гонял крыс еще минут двадцать. Или мне так показалось. В Паркине время течет по-разному: когда чем-то занят — время ползет. Смотришь на воду — застывает на месте. А увидишь, как кто-то живой по-настоящему радуется обычной мелочи — и вовсе летит кубарем. Я сидел на камне у забора и смотрел, как он скачет, спотыкается, рычит, лает, снова спотыкается. Хромота почти прошла, но он все равно заваливался на поворотах, и это было смешно.

Наконец он подошел ко мне, тяжело дыша, и плюхнулся у ног. Язык лежал на земле. Бока ходили ходуном.

— Набегался?

Он даже не моргнул. Просто дышал и смотрел на меня мутными от усталости глазами.

— Ладно. Пошли обратно. Может, Варлам уже вернулся.

В склепе было так же тихо. Я заглянул к Заре — она все так же гремела посудой, но теперь в столовой сидели две сестры, жевали что-то, молча, не поднимая глаз. Варлама не было.

Я взял две миски — себе похлебки, Стону бульона с размоченным хлебом — и пошел в комнату.

Ели молча. Он — жадно, чавкая, разбрызгивая бульон по полу. Я — медленно, глядя в стену.

Варлам обещал поговорить сегодня. «Завтра поговорим», — сказал он вчера, когда я вернулся с холодным кинжалом и чужой смертью за пазухой. Теперь его нет. И комната закрыта. Может что-то пошло не так, и он разгребает последствия «несчастного случая»?

Я поставил пустую миску на стол. Стон уже вылизал свою и теперь лежал на подстилке, вытянув лапы, и смотрел на меня одним глазом.

— Что думаешь? — спросил я его. — Обиделся кинжал? Или сломался?

Стон моргнул.

— Или я просто им не воспользовался?

Он вздохнул, положил морду на лапы и закрыл глаз.

— Умный ты, — сказал я. — Молчишь, и правильно.

Я встал, подошел к тумбочке. Мешочек с монетами лежал там же, где я его оставил — похудевший, но еще с весом. Я сунул его в карман. Кинжал взял в руку. Металл был холодным. Как камень на кладбище в ноябре. Я провел пальцем по лезвию — ничего. Ни пульсации, ни того живого тепла, которое я чувствовал раньше, когда он лежал за поясом.

— Все-таки обиделся, — сказал я вслух.

Сунул его за пояс. Рукоять уперлась в живот, привычно, но теперь это было просто железо. Мертвое.

Я уже взялся за дверную ручку, когда в коридоре послышались шаги. Медленные. Тяжелые. Шаркающие. Кому-то трудно нести собственное тело. Я приоткрыл дверь на палец и выглянул в щель.

По коридору шла женщина. Я не сразу узнал ее. Серое платье сестры милосердия было ей мало — натянулось на огромном, выпирающем животе, который она несла перед собой, как тяжелую ношу. Одной рукой она придерживала поясицу, другой — стену. Лицо бледное, отекшее, с темными кругами под глазами. Волосы выбились из-под платка, слиплись от пота. Каждый шаг давался ей с трудом.

Марти.

Я вспомнил ее смутно. Она была одной из тех, кого я видел редко — может, раз в несколько месяцев. Но когда это было в последний раз, я не мог вспомнить. Лет двадцать пять, тихая, с вечно опущенными глазами. Когда-то давно она мелькала в столовой, помогала Заре с посудой. А потом исчезла. Я не замечал ее отсутствия — в склепе много сестер, они приходят и уходят, и никто не ведет им счет.

Теперь я понимал, куда она исчезла.

Она остановилась посреди коридора. Прислонилась плечом к стене, закрыла глаза. Дышала часто, поверхностно. По лбу стекала капля пота, прокладывая дорожку через висок к шее. Живот под платьем шевельнулся — я увидел, как ткань пошла волной. Марти застонала сквозь зубы. Не громко. Привычно. Стон от боли, к которой уже почти привыкла.

Из глубины коридора появилась Зара. Она шла быстро, бесшумно, как всегда, но в ее движениях было что-то новое. Не тревога. Скорее — холодная собранность человека, который увидел нарушение порядка.

— Марти, — сказала она, и голос ее был ровным, как каменная плита. — Ты забыла правила.

Марти открыла глаза. Посмотрела на Зару. В ее взгляде было что-то, чего я раньше не видел у сестер. Не покорность. Не страх перед наказанием. Просто страх. Чистый, животный, без примеси чего-либо еще.

— Я не могу больше лежать, Зара, — голос у нее был силовый, срывающийся. — Там темно. Там холодно. Я лежу и слышу только только как оно шевелится. Я хотела немного пройтись. Подышать. Хотя бы до столовой. Я не могу там больше.

Зара подошла ближе. Встала напротив, загораживая проход. Лицо ее было спокойным, но в глазах горел огонь, который появляется у людей, охраняющих незыблемый порядок.

— Правила не для того, чтобы их обсуждать, — сказала она ровно. — Ты знала, что так будет. Ты знала, что последние недели проводишь в келье. В молитве. В подготовке. Так было всегда. Так будет всегда.

Марти опустила голову. Плечи ее затряслись — беззвучно, мелко.

— Мне страшно, Зара, — прошептала она. — Просто страшно. Я не знаю, что будет потом. Я не знаю, зачем все это. Я просто боюсь.

Зара молчала. Смотрела на нее сверху вниз. Потом медленно, очень медленно, положила руку на плечо Марти. Жест мог бы показаться утешительным, если бы не лицо Зары — на нем не было тепла, сострадания. Спокойствие камня, вот что было.

— Страх — это часть служения, — сказала она. — Лик смерти испытывает тех, кто ему предан. Ты должна принять страх. Пройти через него. И тогда ты станешь чистой.

Марти подняла глаза. В них стояли слезы, но они не текли — дрожали на ресницах, собирались в уголках, не решаясь упасть.

— Я не хочу быть чистой, — сказала она едва слышно. — Я хочу, чтобы это закончилось.

Зара убрала руку. Лицо ее не изменилось.

— Иди на свое место, — сказала она. — Молись. Усердно. Когда придет время, все закончится. А пока — иди.

Марти стояла еще секунду. Смотрела на Зару, в ее взгляде не было ничего. Просто пустота. Она понимала, что выхода нет, и смирилась с этим пониманием.

Потом она развернулась и пошла обратно — туда, откуда пришла. В глубину коридора, где не горели факелы. Шаги ее стали еще тяжелее. Она больше не держалась за стену. Просто шла, неся перед собой свой огромный живот, и тень поглотила ее раньше, чем она дошла до поворота.

Зара стояла и смотрела ей вслед. Спина прямая, руки сложены на груди. Ни жалости. Ни сомнения. Только порядок.

Потом она повернула голову и посмотрела прямо на мою дверь. На щель, в которую я смотрел. Наши взгляды встретились. Она не удивилась. Просто смотрела — долго, спокойно, оценивающе. Наверно решала, заслуживает ли увиденное какого-то ответа.

Я не отвел глаз.

Она кивнула — еле заметно, одним движением подбородка — и ушла в сторону столовой. Шаги ее стихли.

Я закрыл дверь. Прислонился к ней спиной и спустился на корточки. Сердце колотилось где-то в горле, и я чувствовал, как кинжал за поясом — все такой же холодный, мертвый — впивается рукоятью в живот.

Сестры нужны не только готовить. Не только стирать кровь с алтарных плит. Рожать. Рожать детей для культа. Для лика смерти. И Марти — не первая и не последняя. Просто еще одна, запертая в темной келье, где слышно только, как шевелится внутри нее новая жизнь.

Я посмотрел на Стона. Он сидел на подстилке, уши прижаты, хвост поджат. Смотрел на меня круглыми глазами. Он тоже почувствовал. Не понял — но почувствовал.

— Я скоро, — сказал я ему. — Жди.

Я вышел в коридор. Осмотрелся. Прошел мимо келий сестер. У комнаты Эммы остановился. Прислушался — ничего. Толкнул дверь, она подалась, я заглянул в щель.

Все так же. Кровать застелена. Стол пуст. На подушке — ни вмятины. Как будто здесь никогда никто не жил.

Я прикрыл дверь и пошел к столовой.

Зара все еще была там. Одна. Сестры ушли.

— Я отлучусь, — сказал я с порога. — Если Варлам вернется, скажи, что я его спрашивал.

Она посмотрела на меня. Долго. Спокойно. И кивнула.

Я уже повернулся уходить, но ее голос остановил:

— Он и так узнает, Граб. Ты же знаешь.

— Знаю, — сказал я, не оборачиваясь. — Он всегда все знает.

До «Лысой берлоги» я шел тем же путем, что и в прошлый раз. Улицы, переулки, мост через канал с зеленой водой, в которой плавало что-то белое, разбухшее, не разобрать что. Рыбный ряд уже закрылся, но вонь осталась — въелась в камни, в дерево, в воздух. Я вдыхал ее и не морщился. Привык.

У входа в бордель я остановился. Прислонился плечом к стене соседнего дома — грязной, облупленной, с потеками не то дождя, не то еще чего — и стал смотреть.

Вывеска поскрипывала на ветру. «Лысая берлога» — кривые буквы, намалеванные белилами по темному дереву. Дверь то открывалась, то закрывалась. Выходили мужчины — кто пошатываясь, кто твердой походкой, поправляя штаны. Заходили новые. Один, высокий, в дорогом плаще, но с лицом, которое я не разглядел — он вошел быстро, не оборачиваясь.

Я стоял и смотрел. Сам не знал, чего жду. Может, Лина выйдет? Может, хозяйка? Может, кто-то из «волков» появится, и я узнаю их по походке, по взгляду, по тому, как они держат плечи?

Никто не появился.

Прошло минут двадцать. Может, полчаса. Я продрог. Ветер с реки тянул сыростью, и холод пробирался под рубаху, лип к коже. Я отлепился от стены и толкнул дверь.

Внутри все было как в прошлый раз. Те же запахи — сладковатые духи, прогорклое масло, эль, пот. Те же лавки у стен. Те же мужчины с пустыми глазами. Та же хозяйка — в другом платье, но с тем же лицом, с той же улыбкой, которая оценивала кошелек раньше, чем лицо.

— Добро пожаловать, — пропела она, разглядывая меня. — Чего желает молодой господин? Или, может, кого?

Я улыбнулся. Самую обычную улыбку, какую смог из себя выдавить.

— Лина, — сказал я.

Хозяйка улыбнулась шире. Зубы у нее были желтоватые, но ровные.

— О, у парня отличный вкус. Очень, очень отличный. Но — она развела руками, — Лина сегодня не принимает.

Внутри у меня что-то оборвалось. Не боль. Холод. Такой же холод, как от кинжала за поясом. Только этот шел изнутри.

Я не показал виду. Улыбался.

— Почему? Заболела?

— Нет-нет, что ты. — Хозяйка махнула рукой. — У нее сегодня свидание.

Она сказала это с такой интонацией, что сидящие у стены девицы прыснули, прикрывая рты ладонями. Одна, рыжая, с обвисшей грудью, едва не поперхнулась элем.

— Свидание? — переспросил я.

— Ну, если это можно так назвать. — Хозяйка подмигнула. — Она сегодня на выезде. Особый клиент. Так что, увы, она упустила шанс осчастливить столь крепкого молодого человека.

Она оглядела меня с ног до головы, задержалась взглядом на плечах, на руках.

— Но я настаиваю, нет, я требую — взгляни на Миранду. Миранда!

Она щелкнула пальцами. Из-за занавески у лестницы выскользнула девушка.

Светлые волосы. Большие глаза — серые, с зеленоватым отливом. Тонкая, в легком платье, которое ничего не скрывало, но и не показывало лишнего. Лет шестнадцать, может, семнадцать. Она смотрела на меня прямо, без кокетства, но и без страха. Просто смотрела.

В штанах у меня что-то шевельнулось. Предательски. Горячо. Я почувствовал, как кровь приливает к лицу, и уши начинают гореть.

— Очень хороша, — выдавил я, стараясь держать голос ровным. — Но я, пожалуй, зайду завтра. К Лине.

Хозяйка пожала плечами.

— Как знаешь. Завтра так завтра. Лина будет ждать.

Я улыбнулся еще раз — кажется, вышло криво — и вышел.

Воздух на улице ударил в лицо. Гнилой. Сырой. С запахом рыбы, дыма и нечистот. Я вдохнул его полной грудью и только тогда понял, что в «Берлоге» почти не дышал.

Краска с лица сползала медленно. В штанах отпускало. Я стоял у стены, смотрел на вывеску и чувствовал себя полным дураком.

— Чертова задница, — сказал я вслух. И пошел к кладбищу.

Шел знакомым маршрутом. Переулок, поворот, еще переулок. У того места, где я прирезал Сэма, остановился. В темноте шуршали крысы. Одна, самая крупная, сидела прямо на булыжнике, где тогда растеклась лужа крови, и смотрела на меня черными бусинками глаз. Не боялась. В Паркине крысы никого не боятся. Даже смерть.

Я пошел дальше.

В голове крутилось: Лина на выезде. Особый клиент. «Если это можно так назвать». Волки. Точно волки. Я не знал, что они с ней делают, но от мысли, что я могу опоздать, снова подкатывал холод.

Еще крутилось: Миранда. Ее глаза. И то, как мое тело отреагировало на нее, хотя я шел к другой. Я вырос в склепе. Я видел сестер каждый день — серых, молчаливых, с потухшими глазами. Я знал женское тело по анатомическим атласам Варлама — как набор костей, мышц и сухожилий. А тут — живое. Завораживающее. Смотрит на тебя и ждет.

Я не знал, что с этим делать.

Кладбище встретило меня тишиной. Плиты, кресты, трава. Ветер стих. Туман поднялся от земли, заволакивал надгробья, делал их похожими на спины спящих зверей.

В склепе было пусто. Варлам не вернулся.

Я зашел в свою комнату. Стон спал на подстилке, свернувшись в клубок, и даже ухом не повел, когда я вошел. Я сел на кровать, стянул сапоги. Кинжал вытащил из-за пояса, положил на тумбочку. Он лежал и молчал. Просто кусок металла.

Я лег, уставился в потолок.

Завтра. Завтра я снова пойду к Лине. Завтра я узнаю про волков. Завтра, может быть, вернется Варлам и объяснит, что я сделал не так с тем посланцем, почему кинжал мертвый, и почему у меня внутри поселился холод.

А сегодня — пусто.

Стон завозился, встал, подошел к кровати, запрыгнул. Покрутился, укладываясь, пристроил морду на мою щиколотку. Я опустил руку, почесал его за ухом. Он лизнул мои пальцы. Раз. Второй. И засопел.

От него пахло мылом. Улицей. Жизнью. Не так, как от кинжала. Совсем не так.

Я закрыл глаза.

Завтра — да или нет. А сегодня — Стон. И этого хватало.

Глава 9. Нутро

Меня разбудила рука на плече. Легкая, но не ласковая. Женская рука. Я открыл глаза сразу, будто и не спал, хотя в голове еще ворочалась мутная гуща обрывков: ступени особняка, визг Миранды, которого не было, и пуговица, давящая на затылок даже сквозь подушку.

Сестра. Одна из тех, чьи лица я помнил не по именам, а по форме подбородка или родинке у виска или губы. Эта была из молодых, но уже с тем особенным выражением, которое появлялось у них всех после года-двух в склепе — не тоска, а скорее стертость. Как у старой монеты, на которой не разобрать, кто там был отчеканен.

— Верховный завет, — сказала она, убирая руку.

— Еще ночь, — прохрипел я, просто чтобы проверить собственный голос. В комнате стоял полумрак, свет догорающих факелов падал в дверь.

— Уже утро, — ответила она без интонации. Развернулась, серая ткань ее платья мазнула по косяку, и вышла.

Стона в ногах не было. Он сидел у порога, вытянув морду к щели под открытой дверью, и тихо, утробно рычал. Не лаял. Просто рычал, будто там, в коридоре, стояло что-то, чего я не слышал.

Я оделся, не зажигая света. Рубаха, штаны, сапоги. Кинжал привычно лег за пояс. Уже почти родной. Холодный, зараза. Натягивая сапог, я заметил, что Стон поджал хвост и отполз к стене, пропуская меня к выходу, но сам вставать, не спешил.

— Ты чего? — спросил я, наклоняясь. — Боишься?

Он посмотрел на меня. В темноте его глаза отливали красным отсветом от далекого факела. И в этом взгляде была не трусость. Что-то странное. Будто он знал дорогу, по которой мне предстоит идти, и не хотел ступать на нее лапами. Я вышел один.

В коридорах было пусто, но не тихо. Где-то далеко, в глубине склепа, раздавался ритмичный звук — не то капли долбили по камню, не то кто-то размеренно скреб ногтем по дереву. Я шел к комнате Варлама, и чем ближе подходил, тем тяжелее становился воздух. Он не был спертым. Он был пропитан чем-то новым.

Я толкнул дверь в кабинет, и запах ударил в нос. Резкий, влажный, с примесью тухляка и гнили или чего-то химически-едкого, от чего запершило в горле. Канализация. Точно. Так пахнут стоки у Рыбного ряда в полуденный зной, когда вода уходит, а на камнях остается жирная, пузырящаяся пленка. Но здесь, среди старых книг и сухого пергамента, этот запах был чужеродным, как блевотина на алтаре.

Варлам сидел за столом, но не читал. Руки его лежали на столешнице, пальцы сцеплены. Перед ним стояла чаша — простая, медная, с высокими краями. Внутри темнел пепел и что-то еще, не до конца прогоревшее. Уголек толстой бумаги, скрученный, черный по краям, но с белой сердцевинкой. Он не поднял глаз. Я стоял и смотрел на его руки. Костяшки. Морщины. Сегодня они казались особенно старыми.

— Ты хорошо сработал, Граб, — произнес он, наконец. Голос его был ровным, но эта ровность стоила ему усилий. Я слышал это по тому, как медленно он ронял слова. — Ты несешь смерть вокруг себя, даже не прикасаясь. Важный гость... мертв. Упал с лестницы. Несчастный случай. Все так и решили. Я был там сегодня ночью, обсуждал похоронный процесс. Слышал разговоры. Никто не ищет убийцу. Ищут виноватого в плохо натертых ступенях.

Он замолчал. Тишина в комнате приносила дискомфорт. Я чувствовал, как запах канализации въедается в мой рукав, в волосы.

— Но в следующий раз, — он поднял глаза, и я увидел в них скрытый гнев, — будь внимательнее. Всегда помни все, замечай, думай, вспоминай. Там был капитан. Капитан стражи этого толстосума. Он тебя видел?

Шрам на шее зазудел. Зачесался, по рубцовой ткани провели тупой стороной ножа. Я сглотнул. В горле пересохло.

— Да. Видел, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. — Вышло... недоразумение. Он меня заподозрил.

Варлам не пошевелился. Только пальцы, сцепленные в замок, чуть сжались, и кожа на костяшках побелела. Он злился. Он никогда не кричал, не бил по столу, не менялся в лице. Но я ощущал его злость сейчас так же ясно, как зверь чует голод. Она была в этой тишине, в этом новом, чужом запахе, который он принес с собой из города. Паркин прилип к нему. Паркин просочился в склеп.

— Так вот, Граб, — продолжил он, и каждое слово теперь падало, как камень в сухой колодец, — это недоразумение тебя очень хорошо запомнило. И, оказывается, оно увлекалось искусством.

Он разомкнул руки, сунул руку куда-то под стол и вытащил лист. Протянул мне. Бумага была дорогой, плотной, с ровными краями — такую режут, не рвут. Я взял ее и почувствовал, как подушечки пальцев мгновенно вспотели.

С листа на меня смотрел я. Это был не просто портрет. Это была работа человека, который умел видеть и запоминать каждую черту. Мое лицо в полупрофиль — скулы, разрез глаз, линия подбородка. И шея. Шрам, пересекающий горло, был прорисован с пугающей, анатомической точностью. Художник передал даже то, как края старой раны чуть выворачиваются, образуя ту самую улыбку, которую Варлам называл «поцелуем смерти». Я коснулся своего шрама. Пальцы дрожали. Не от страха. От напряжения. От понимания, что эта картинка висела где-то, и возможно на нее смотрели чужие зрачки.

Варлам забрал лист обратно. Быстро, но не резко. Скомкал его в кулаке, и бумага смялась с тихим, сухим хрустом, превратившись в плотный шарик. Он бросил его в медную чашу, туда, где еще тлел уголек. Пламя родилось не сразу. Сначала пошел белый, едкий дымок, запахло паленым клеем и свиной щетиной — видимо, в красках было много животного. А потом шарик вспыхнул, осветив лицо Варлама снизу. Огонь плясал в его разъяренных глазах, и на мгновение мне показалось, что это не отражение, а его собственный, внутренний свет.

— Проблемы больше нет, — произнес он, когда последний язычок лизнул воздух и погас, оставив только горстку серого, невесомого пепла. — Художник, увы, скорострительно скончался от разрыва сердца. Талантливые люди часто слишком тонко чувствуют этот мир.

Он перевел дыхание и посмотрел на меня уже спокойнее. Злость ушла, растворилась в запахе гари, но на ее месте осталось усталое наставление.

— Граб. Будь внимательнее в будущем. Ты — смерть. А смерть — это то, что глаза видят последним. И запомнить они это не успевают. Ты понял?

— Понял, — сказал я.

Он откинулся на спинку стула. Потер переносицу двумя пальцами. Жест был таким обыденным, человеческим, что на секунду он снова стал просто стариком, который не спал всю ночь и у которого болит голова от гари.

— У меня к тебе просьба. Не задание. Просьба.

Он выдвинул ящик стола и достал конверт. Плотный, из грубой, почти необработанной бумаги, запечатанный каплей темно-красного сургуча. Без печати, просто оплывший на сгибе наплыв.

— Сходи к Третьему мосту. Тому, что у старых складов. Под ним тебя будет ждать один человек. Отдай ему это. И сразу уходи. Никаких разговоров.

Я взял конверт. Бумага была шершавой, изнутри чуть топорщилась — письмо было коротким. Я сунул его за пазуху, рядом с холодным кинжалом.

— Потом ты свободен, — добавил Варлам, и в его голосе прорезалась та знакомая, почти отеческая ирония, от которой у меня всегда сжималось внутри. — У тебя же еще остались монеты? Или ты все оставил в этой... «Лысой берлоге»?

Я поднял глаза. Его собственные — смеялись. Только губы оставались неподвижными. Он знал. Он всегда знал. Но вопрос был в другом: насколько? Знал ли он про Лину? Про то, что я не смог? Про пуговицу, которая сейчас лежала под моей подушкой? Он смотрел на меня, и в его взгляде была спокойная уверенность того, кто держит в руках поводок, включая тот, что привязан к моей шее.

— Монеты есть, — ответил я и улыбнулся.

— Вот и славно. Ступай мой мальчик.

Я вышел. В коридоре оперся об стену одной рукой и выдохнул. Запах канализации выветрился из комнаты, но вьелся в ноздри. Я пошел к себе.

Стон ждал у двери. Он уже не рычал, но шерсть на загривке все еще топорщилась, а хвост был поджат. Я взял мешочек с монетами, проверил кинжал. Все на месте. Свистнул псу, и мы выбрались на кладбище.

До Третьего моста путь был неблизкий. Мы шли через Нижний город, мимо бесконечных лотков и мастерских. Я купил у старухи два пирога с требухой — один себе, другой разломил Стону. Он ел жадно, но как-то нервно, постоянно оглядываясь на прохожих и вздрагивая, когда кто-то проходил слишком близко. Я жевал и думал о Варламе. О том, как легко он смял мое лицо и сжег его. О художнике, у которого «разорвалось сердце». О том, что Паркин теперь пахнет не только гнилью с реки, но и просачивается в наш склеп, в наше подземелье.

У Третьего моста было пустынно. Старые склады, заколоченные досками, смотрели на реку слепыми окнами. Вода внизу была черной, маслянистой, почти неподвижной. Мы спустились по крутой, замшелой лестнице, вырубленной прямо в каменной кладке набережной. Ступени крошились под ногами, и Стон скулил, прижимаясь к моей штанине.

Внизу, под сводом моста, было царство теней. Сюда не доставал даже серый дневной свет. Я сразу учуял его. Тот самый запах, что был утром в кабинете Варлама. Только здесь он был гуще, концентрированнее, живой. Пахло не просто канализацией. Пахло человеком, который живет в ней.

Он стоял в углублении, у самого входа в широкую трубу стока, откуда тянуло холодом и аммиаком. Крысятник. Я видел таких пару раз в детстве, когда сбегал из склепа к реке. Они шастали под городом, в катакомбах, ели отбросы, спали в нишах, куда не рисковали соваться даже бродяги. Этот был невысок, сутул, одет в бесформенное тряпье, на котором засохшая грязь лежала коркой. Лица я не разглядел — он стоял, опустив голову, и на нос ему падала тень от капюшона.

Я шагнул к нему, протягивая конверт.

— Я от Вар...

Он вскинул руку. Резко, но без паники. Просто выбросил вперед грязный палец с обломанным, черным ногтем и прижал его к своим губам. Жест был красноречивее любого окрика: «Молчи».

Я замолчал. Просто сунул ему письмо. Он взял его двумя пальцами, осторожно, как берут дохлую крысу за хвост, чтобы не испачкаться. Вскрыл сургуч, развернул листок. Глаза его быстро забегали по строкам — я видел только белки, блеснувшие в полумраке.

Потом он поднял голову. Посмотрел не на меня — наверх, на край моста. Сделал короткий, едва заметный жест рукой. Скупую отмашку кистью, словно сгоняет муху с невидимого стола.

Я рефлекторно поднял взгляд. Край моста, серый камень, клочья тумана. Никого.

А потом послышался лязг цепи и хруст.

Не громкий. Звук, когда ломают не сухую доску, а что-то более плотное и живое. Ветку? Нет. Шею? Возможно.

Сверху, из-под свода моста, прямо в двух шагах от меня, рухнуло тело. Оно упало мешком, глухо, без крика. Пыль взметнулась от удара о каменную площадку.

Я обернулся на крысятника. Его уже не было. Только темный провал канализационного стока зиял в стене, и оттуда тянуло сыростью и гнилью. Растворился. Как и не было.

Я подошел к телу. Оно лежало лицом вверх. Капитан. Тот самый. Кожаный доспех начищен до блеска, даже сейчас, даже после падения. Глаза открыты, но уже давно мертвы. В них застыла какая-то последняя, предсмертная досада. Наверно он понял, что его провели, но сделать ничего не успел. На виске — рваная рана, но крови почти нет. Смерть наступила до падения.

Стон зашелся лаем. Не рычанием — звонким, истеричным, щенячьим лаем, от которого эхо заметалось под сводами моста. Шерсть на загривке встала дыбом, он пятился, припадая на большую лапу, но продолжал лаять, захлебываясь слюной и страхом.

Я понял без слов. Надо валить. Сейчас же. Я подхватил Стона на руки, прижал к груди — он дрожал всем телом, но лай прекратил, только скулил, уткнувшись мокрым носом мне в шею. И я побежал.

Не к склепу. Ноги несли в другую сторону, в лабиринт переулков, прочь от моста, прочь от тела, прочь от невидимых рук, которые только что сбросили человека вниз по одному скупому жесту. Я бежал и думал: «Варлам решил проблему». Решил. Чужими руками. Крысятники. Тени под Паркином. Они везде, все видят. И служат тому, кто платит — или кто держит их за глотку.

Я вылетел из переулка на улицу, ведущую к «Лысой берлоге», и чуть не врезался в гущу людей. Толпа стояла полукругом у таверны «Большая кружка». Галдели, кричали, кто-то звал стражу. Я не сбавлял шага, пытаюсь проскочить мимо, Стон не успевал за мной и где-то отставал из-за дискомфорта с лапой, как вдруг чья-то рука — железная, в кожаной перчатке — схватила меня за шиворот и дернула в сторону. Я впечатался спиной в стену, в темный угол между двумя домами.

Передо мной стоял стражник. Не из тех помятых пьяниц, что ходят по Рыбному ряду. Этот был в хорошем пластинчатом доспехе, с коротким мечом, который он уже держал в руке. Лицо красное, в прожилках, пахло от него пивными дрожжами и потом.

— Так-так, — прохрипел он, прижимая меня к стене локтем. — А куда это мы так бежим, а? Уж не из «Кружки» ли? Оттуда, где только что какому-то бедолаге кишки выпустили?

Он ухмыльнулся, обнажив шершавые зубы.

— Ты, мерзкий урод, — продолжал стражник, и его глаза жадно шарили по мне, по моей одежде, по сапогам. — Одно мое слово — и тут будет подкрепление. Но я добрый. Я могу и не звать. Выворачивай карманы. Живо. Или я скажу, что это ты прирезал Большого Джори. Уж больно рожа у тебя подходящая.

Он опустил взгляд на кинжал. Тот торчал из-за пояса, потому что рубаха задралась, когда он меня дернул. Стражник осклабил еще шире и поднес кончик своего меча к моему горлу, туда, где пульсировал шрам.

— Это не я, — сказал я тихо. Голос был ровным, почти скучающим. — Я посыльный. Мне нужно отнести письмо господину.

— Какому еще господину? — он хохотнул, и изо рта у него повеяло гнилью. — Господин в Паркине один, сученок, ты разве не знаешь? Аркан. А ты на посыльного при Аркане не тянешь. Ты — падаль с Нижнего города. Так что гони монеты.

И тут в переулок, хромя, забежал Стон. Остановился в паре шагов, оскалившись. Шерсть дыбом, уши прижаты, и из горла вырывался тот самый низкий, вибрирующий рык, которым он встречал однажды Варлама.

Стражник скосил глаза на пса. Скривился.

— Уйди, мра...

Он не договорил. Потому что отвел клинок от моего горла на долю секунды. Чтобы плюнуть в сторону собаки. Всего лишь плюнуть.

И в эту долю секунды моя рука, которая лежала на поясе, сделала то, чему учил Варлам. Одно короткое, даже не движение — трюк. Кинжал вышел из-за пояса без звука и вошел туда, где пластины доспеха сходились неплотно. Под ребра. Снизу вверх.

Стражник еще пытался договорить, но вышел только мерзкий, свистящий выдох. Его глаза расширились, и я увидел, как в них гаснет та гнилая, уверенность в своей безнаказанности, с которой он только что собирался меня обчистить. Глаза становились шокирующе пустыми.

Металл в моей руке начал нагреваться.

Я почувствовал это сразу. Сначала была просто теплая рукоять. А потом жар пошел вверх, по запястью, к локтю, к плечу, и ударил в голову.

Его мир взорвался во мне.

Внутри меня раскрылась пустота. Словно просыпаешься среди ночи и понимаешь, что желудок пуст настолько, что уже не урчит, а просто молчит, сжавшись в комок. Но эта пустота была не в животе. Она была везде — в груди, в пальцах, в глазах. Она смотрела на мир его глазами и видела только то, чего у нее нет.

Я увидел Паркин таким, каким его видел он. Улицы состояли не из домов и людей. Из вещей. Из чужого добра. Каждая вывеска, каждая пряжка на сапоге прохожего, каждое яблоко в руке у ребенка — все это существовало только для того, чтобы он мог это забрать. Не потому что хотел есть. Не потому что нуждался в деньгах. Просто забрать. Присвоить. Увеличить себя за счет другого.

Он шел по Рыбному ряду, и его взгляд цеплялся не за лица торговков, а за их кошельки. Он чувствовал вес чужих монет кожей, на расстоянии. У него сводило скулы, когда мимо проходил богато одетый человек. Не от злости. От желания немедленно, сейчас же, вывернуть его карманы и ощутить, как чужое золото перетекает в его ладонь.

Я почувствовал его руки. Грубые, с вьезшейся грязью под ногтями. Эти руки помнили каждую монету, которую когда-либо держали. Они помнили, как он в первый раз вытряс кошелёк у пьяного мастерового — тот даже не проснулся. Утром мастеровой, наверное, хватался за голову и клял свою память, а стражник в это время пересчитывал его недельный заработок и улыбался. Не злорадно. Сыто.

В этом и было главное. Сытость. Жадность. Когда ты взял чужое и теперь оно твое. Когда человек перед тобой стал пустым, а ты — полным. Он жил от одного такого момента до другого. В промежутках была только жажда. Постоянная, свербящая, от которой сохло во рту, и немели пальцы.

Я увидел его последнюю жертву. Торговка с Верхнего рынка. Она несла домой выручку — несколько серебряных монет и горсть меди. Он остановил ее у моста, сказал что-то про пошлину, про проверку. Она не спорила — в Паркине со стражей не спорят. Протянула кошелёк дрожащими пальцами. Он взял его, развязал, заглянул внутрь. Меди больше, чем серебра. Поморщился. Вернул пустой кошелёк и пошел дальше.

Он не бил ее. Взял то, что она заработала за день, и унес с собой. И в этот момент, когда ее лицо побелело, а губы задрожали, он испытал то самое. Наполнение. Как будто в груди разжалась пружина, которая давила с самого утра. Как будто он, наконец, глотнул воды после долгой жажды.

Но жажда возвращалась. Всегда возвращалась. Через час, через день, через минуту — и снова надо было искать, кого бы опустошить.

Я стоял с насаженным на клинок телом, и эта жажда была во мне. Чужая, но уже прижившаяся, как пиявка на коже. Я смотрел на его поясную сумку и чувствовал, как мои пальцы

хотят развязать ее. Не из любопытства. Не ради улики. Просто взять. Там наверняка есть монеты. Может, серебро. Может, какая-то безделушка, которую он отобрал утром. Зачем им лежать с мертвецом? Мертвым деньги ни к чему.

Я чувствовал, как его жадность перетекает в меня. Не как зараза. Как знание. Он наслаждался этим. Каждым вывернутым карманом, каждым «я скажу, что это ты», каждым взглядом, полным ужаса и покорности. Паркин дал ему форму, клинок и право — и он брал, брал, брал, пока не встретил того, кто дает столько, что унести уже невозможно.

Я выдернул клинок. Тело стражника мешком скатилось на булыжники. Кровь — горячая, парная — потекла в сточную канаву, смешиваясь с помоями и чьими-то объедками. Жадность. Она все еще манила и меня, пульсировала где-то под ложечкой — чужая, ненасытная. Я смотрел на его лицо, на застывшую гримасу, и понимал: он не считал себя плохим. Он просто брал то, что, по его мнению, ему причиталось.

Стон не подошел. Сидел у стены и смотрел на меня. Не скулил. Просто смотрел. Не как на хозяина. Как на дверь в южный зал.

— Я тоже, — сказал я ему. Или себе. Голос прозвучал хрипло, чуждо. — Я тоже пока не понимаю.

Я вытер кинжал о плащ стражника. Металл остывал, но медленно — как будто нехотя отпускал чужую грязь. Или свою. Теперь это была и моя грязь. Часть меня.

В конце переулочка уже слышались голоса. Тяжелые шаги. Настоящая стража, не эта гнида. Я свистнул Стону — он дернулся, но пошел за мной, прихрамывая, прижимаясь к стенам. Мы нырнули в узкую щель между домами, в темноту, и растворились в тених Паркина.

Я бежал не к склепу. Я бежал к «Лысой берлоге». Мысли путались, но одна билась в висках колокольным звоном: «Капитан нарисовал мой шрам — и умер. Стражник видел мое лицо — и мертв. Лина... Лина видела мое лицо. Лина знает шрам. Лина может рассказать. Что сделает Варлам, когда доберется до нее? Или он уже знает?»

Я бежал, а сзади, отставая, хромал Стон. Он тоже знал, что нужно спешить. Знал лучше меня.

Глава 10. Чистые руки

Стон прижался к моей ноге и часто дышал. До «Лысой берлоги» оставалось два поворота. Я стоял, вжавшись плечом в стену заброшенной лавки, и слушал город. Паркин жил своей жизнью — крики торговок с Рыбного ряда, лязг тележных колес по булыжникам, детский плач из подворотни, ругань кожевников. Обычный шум. Правильный. Если бы за борделем следили, если бы Варлам уже знал про Лину и выставил людей, здесь было бы тише. Или наоборот — слишком шумно, неестественно, с наигранными драками и пьяными песнями. Я не слышал фальши. Только привычную гнилую симфонию города.

Варлам. Что ему известно? Крысятники шныряют под улицами, слышат каждый шепот, видят каждую тень. Они знают, что я приходил сюда дважды. Может, трижды, если считать тот раз, когда я стоял у входа и не решался войти. Они доложили ему маршрут, время, возможно, даже описали выражение моего лица, когда я выходил. Но они не могли слышать, о чем я говорил внутри. Не могли знать, к кому именно я поднимался. «Лысая берлога» — не то место, где крысятники выют гнезда. Слишком много чужих ушей, слишком много пьяных драк, слишком чисто для тех, кто привык к дерьму и сточным водам. Я перебирал это в голове, как четки, которые видел у Зары — она перекатывала их пальцами, когда думала, что никто не смотрит. Варлам знает про бордель. Но не знает про Лину. Пока не знает.

Стон заскулил, глядя на меня снизу вверх. Шерсть на загривке еще топорщилась после того переулка, после стражника, после жадности, которая до сих пор сидела у меня под языком, чужая, липкая, никак не хотела отпустить.

— И Стон, — сказал я вслух. — Нас двое, кто знает.

Пес поднял голову, посмотрел на меня. В его глазах было доверие. Он не знал, о чем я говорю, но слушал внимательно, как слушают только собаки и мертвые. Я почесал ему за ухом, то, которое все еще висело тряпочкой, не отошло до конца.

— Если там все чисто, я не должен ее выдавать. Понимаешь? Она мой ключ. К клетке с волками.

Стон моргнул. Я воспринял это как согласие.

— Жди здесь. Видишь куст?

Я указал на чахлый кустарник у дороги — единственное живое, что росло в этом переулке, если не считать мха на камнях. Стон посмотрел туда, потом на меня, потом нехотя, прихрамывая на заднюю лапу, потрусил к кусту. Улегся, вытянув передние лапы, положил морду на землю. Вздохнул тяжело, всем телом.

— Хороший мальчик.

Хвост дернулся. Раз, другой. Радостно, но сдержанно — как будто он понимал, что сейчас не время для бурных проявлений. Я поправил рубаху, проверил кинжал за поясом. Холодный. После стражника он остыл не сразу — держал тепло, как живое держит кровь, — но теперь снова стал просто куском металла. Я провел пальцем по рукояти, по черепу с оскаленными зубами, и сунул кинжал глубже, чтобы не торчал.

Плашка над входом скрипнула от ветра. Я толкнул дверь. Внутри было спокойно. Те же запахи — духи, масло, эль, пот. Те же лавки у стен. Те же женщины с пустыми глазами. Только сегодня народу меньше — полдень, клиенты явятся ближе к вечеру. Хозяйка стояла у лестницы, что-то втолковывала рыжей девице с обвисшей грудью, но когда я вошел, она сразу обернулась. У нее был нюх на деньги и на тех, кто их носит.

— О! — Она всплеснула руками, и на лице расцвела улыбка, от которой у меня свело скулы. — Да у нас появился постоянный постоялец! Ай, молодец! Обещал — и пришел. К своей единственной!

Она говорила громко, нараспев, и каждое слово было как масло на сковороде — шипело, разлеталось, обволакивало. Я не смотрел на нее. Мой взгляд скользнул по залу, по лавкам, по теням в углах. Лина сидела у дальней стены на коленях у здорового лысого борова. Он был огромный — живот вываливался из расстегнутой куртки, пальцы-сосиски сжимали кружку с элем. Лина что-то шептала ему на ухо, улыбалась, касалась плеча, и он ржал, запрокидывая голову, довольный, как кот, объевшийся сметаны. Цела. Здорова. Ни синяков, ни ссадин, ни того загнанного взгляда, который я видел у Марти в коридоре склепа. Я выдохнул. Тихо, незаметно, одними уголками губ.

— Нет-нет, — сказал я, перебивая хозяйку, и постарался, чтобы голос звучал легко, даже чуть развязно. — Вы меня не так поняли. Я ищу Миранду.

Хозяйка замерла на полуслове. На секунду в ее глазах мелькнуло что-то — оценка, пересчет, перешелкивание костяшек на воображаемых счетах. Потом она улыбнулась еще шире.

— О! — Она прижала руки к груди, изображая умиление. — Я знала. Нет, я была абсолютно уверена, что у тебя есть вкус. И ты по достоинству оценишь мою девочку.

Я не смотрел на Лину. Ни разу. Даже краем глаза. Пусть хозяйка думает, что я забыл прошлый визит. Пусть Лина думает, что я нашел кого-то получше. Пусть никто не свяжет нас. Если Варлам спросит у крысятников, они скажут: приходил, брал Миранду, ушел. Ни слова о другой.

— Миранда! — Хозяйка шелкнула пальцами, и звук был как удар хлыста по голой спине. — Миранда, детка, спускайся! Твой принц пришел!

Я услышал шаги наверху. Легкие, быстрые, босые ступни по деревянным ступеням. Она появилась из полумрака — светлые волосы, манящие серые глаза с зеленоватым отливом, то же легкое платье, которое интриговало, но не показывало лишнего. Она остановилась на третьей ступеньке, посмотрела на меня, и в ее взгляде было принятие. И удивление. Она помнила меня — того странного парня, который в прошлый раз смотрел на нее так, будто впервые увидел женщину, а потом сбежал.

— Обслужи клиента по высшему разряду, — пропела хозяйка, и в голосе была сталь под медом. — Посмотри, как он бежал к тебе. Сапоги стер. Рубаха вся взмокла.

Я опустил глаза. Сапоги действительно были в грязи, в какой-то бурой жиже, которая уже засохла коркой. Рубаха прилипла к спине, и когда я повел плечами, ткань отстала с влажным чмоканием. От меня несло. Потом. Улицей. Чужой кровью, которую я смыл с рук в сточной канаве, но запах остался — он всегда остается, въедается в поры, в волосы, под ногти. Я выглядел как адская гончая, которую спустили по следу, и которая загнала зверя. Впрочем, это было уже не важно. Главное — Лина сидела в углу, целая и невредимая, и лысый боров щипал ее за бок, а она смеялась, запрокидывая голову. Живая. Свободная. Пока свободная.

Миранда спустилась. Подошла ко мне, и я почувствовал запах — не духов, а чистого тела, мыла, чего-то свежего, чего в Паркине не бывает по определению. Она взяла меня за руку. Пальцы у нее были тонкие, прохладные, и прикосновение было легким, почти невесомым — как будто она боялась спугнуть.

— Пойдем, — сказала она тихо.

Я кивнул. Она повела меня к лестнице. Каждая ступенька скрипела. Этот скрип отдавался в висках — удар, еще удар, еще. После бега через полгорода, после стражника, после чужой жадности, которая все еще пульсировала, сердце колотилось так, что я слышал его в ушах. Скрип — удар. Скрип — удар. Я считал ступени, чтобы не думать о том, что будет дальше.

Восемь. Девять. Десять.

Ничего не изменилось, тот же узкий коридор. Двери по обе стороны — одинаковые, крашенные дешевой охрой, с жестяными номерами. Из-за одной доносились ритмичные скрипы кровати и женские стоны — наигранные, слишком громкие, чтобы быть настоящими. Из-за другой — храп. Из-за третьей — тишина. Миранда остановилась у четвертой двери. Номер

стерся, осталось только темное пятно на жести. Она толкнула дверь плечом — та открылась без скрипа, смазанная, ухоженная.

— Заходи.

Я вошел. Комната была такой же маленькой что и в прошлый раз, но чище. Кровать застелена серым одеялом без пятен. На столике — кувшин с водой, таз, чистая тряпица, сложенная аккуратным квадратом. На подоконнике — огарок свечи в глиняной плошке. И все. Ни ковров, ни картин, ни того дешевого уюта, который обычно наводят в таких местах, чтобы клиент чувствовал себя как дома. Здесь было почти по-монашески. Почти как в моей комнате в склепе.

Миранда закрыла дверь. Задвинула задвижку — металл щелкнул глухо, основательно. Повернулась ко мне.

— Ты весь дрожишь, — сказала она.

Я не ответил. Стоял посреди комнаты, не зная, куда деть руки. Они висели плетьюми, и пальцы все еще были холодными, хотя в комнате было тепло — где-то внизу топилась печь, и жар поднимался по стенам, делал воздух густым, почти осязаемым.

Миранда подошла к столику. Налила в таз воды из кувшина — вода была чистой, без ржавчины, без той мутной взвеси, которая течет из кранов в Нижнем городе. Взяла тряпицу, намочила, отжала.

— Сними рубаху, — сказала она.

Я посмотрел на нее. Она смотрела в ответ — прямо, без кокетства, без того профессионального прищура, с которым женщины в «Берлоге» оценивают кошелек клиента. Просто смотрела. Ждала. Я стянул рубаху через голову. Ткань прилипла к коже, отстала с влажным звуком. В комнате стало холоднее — или мне показалось. Миранда шагнула ко мне, и я почувствовал запах мыла снова — простого, серого, с темными прожилками, точно такого, каким Зара мыла посуду в склепе.

Она начала с шеи. Тряпица коснулась кожи — холодная, отрезвляющая, приятная до мурашек. Она вела ею медленно, осторожно, обходя шрам. Я почувствовал, как вода стекает по ключицам, по груди, собирается в ложбинке у пупка. Она не спрашивала, откуда шрам. Не спрашивала, почему я пришел в таком виде. Просто мыла.

— У тебя кровь, — сказала она тихо. — На шее. И на руках.

Я опустил глаза. На предплечьях действительно были бурые разводы — не моя кровь, та, что брызнула, когда я выдернул кинжал из-под ребер стражника. Я думал, что смыл ее.

— Не моя, — сказал я.

— Я знаю.

Она не спросила, чья. Просто продолжала мыть. Провела тряпицей по плечам, по груди, по животу. Ее движения были точными, выверенными — не ласка, не медицинская процедура, что-то среднее. Так моют тех, кто сам не может.

— Зачем ты пришел? — спросила она, не поднимая глаз.

Я молчал. Смотрел на ее макушку, на светлые волосы, собранные в небрежный узел, на тонкую шею с родинкой под левым ухом. Она была молодая — может, шестнадцать, может, семнадцать, — но в ее движениях, в ее голосе было что-то взрослое, усталое, что появляется у людей, которые рано научились не ждать ничего хорошего.

— Я не знаю, — сказал я.

Это было правдой. Я пришел проверить Лину. Убедиться, что с ней все в порядке. Убедиться, что Варлам или волки не добрались до нее. Но Лина была внизу, с лысым боровом, и я уже сделал все, что должен был. Мог уйти. Мог сослаться на усталость, на плохое самочувствие, сунуть монету хозяйке и исчезнуть. Но я остался. Потому что не мог вернуться в склеп. Не сейчас. Мне нужно было где-то переждать. Отдышаться. Смыть с себя не только кровь, но и чужую грязь, которая в меня вьелась.

Миранда закончила с руками. Отложила тряпицу. Взяла со столика чистую — грубую, серую, но сухую. Начала вытирать. Теперь ее прикосновения были теплее, мягче, и я почувствовал, как мышцы на плечах, на спине, которые были сведены судорогой с того самого момента, как я увидел капитана на мосту, начинают расслабляться.

— Ты странный, — сказала она. — Клиенты обычно не молчат. Они рассказывают. О женах. О работе. О том, какие они важные. Или просто пыхтят и делают свое дело.

— А я?

— А ты молчишь. И дрожишь. Как будто тебя вытащили из проруби.

Она закончила вытирать. Отошла к столику, повесила тряпицу на край таза. Повернулась ко мне. Скрестила руки на груди — не закрываясь, просто удобно.

— Меня зовут Граб, — сказал я.

Она усмехнулась. Уголкем рта.

— Я знаю, как тебя зовут. Красавчик. Или «эй, ты». Или «тот парень, который в прошлый раз сбежал». Имена здесь не важны.

— Мне важно.

Она смотрела на меня долго. Но я не мог прочесть, что скрывал ее взгляд. Интерес? Жалость? Как будто она тоже когда-то стояла посреди чужой комнаты, не зная, куда деть руки, и кто-то назвал ее по имени, и это имя вдруг стало единственной настоящей вещью в мире, полном фальши.

— Миранда, — сказала она. — Но это не мое имя. Так меня назвала хозяйка. Мое настоящее... я уже не помню.

Она сказала это просто, словно что вчера закончился эль. Что-то внутри сжалось. Не жалость — жалость в Паркине убивает быстрее ножа. Что-то другое. Понимание. Я тоже не помнил своего настоящего имени. Может, у меня его никогда не было.

— Посиди со мной, — сказал я.

Она кивнула. Села на край кровати. Я сел рядом. Мы молчали. Снизу доносился приглушенный шум — голоса, смех, звон кружек. Где-то в соседней комнате снова закричала кровать, и женский голос застонал — на этот раз тише, почти искренне. За окном, за мутным стеклом, ветер гнал по улице пыль и обрывки чьих-то писем. Я закрыл глаза. Жадность все еще была там. Она пульсировала, как больной зуб, и тянула, тянула к поясу стражника, к его сумке, к монетам, которые он отобрал у торговки. Я сжимал кулаки, сжимал зубы, но она не уходила. Она была чужой, но уже прижилась, как пиявка, и сосала, сосала, не давая забыть, кем я стал сегодня.

— У тебя кто-то умер? — спросила Миранда.

Я открыл глаза. Посмотрел на нее.

— Почему ты спрашиваешь?

— У тебя взгляд как человека, который только что кого-то похоронил. Или убил.

Я промолчал. Она не настаивала. Сидела рядом, смотрела в стену, и ее рука лежала на одеяле в нескольких сантиметрах от моей. Я чувствовал тепло от ее пальцев — не жар, не огонь, просто живое тепло, которое не требовало ничего взамен.

— Да, — сказал я. — Умер.

— Кто?

— Не знаю. Я не знал его имени.

Это тоже было правдой. Стражник не назвался. У него не было имени — только мотив, только желание взять чужое и наполнить себя. А теперь у него не было ничего. Даже имени. Миранда кивнула. Она не спросила, как он умер. Не спросила, почему я знаю об этом. Просто сидела рядом, и ее присутствие было как таз с чистой водой — простое, нужное, без вопросов.

— Знаешь, — сказала она через минуту, — когда я только попала сюда, хозяйка дала мне совет. Она сказала: «Не запоминай их лица. Они приходят и уходят. Ты остаешься. Если будешь запоминать — сойдешь с ума».

— Ты запоминаешь?

— Иногда. Тех, кто не похож на других.

Она повернула голову, посмотрела на меня. На долю секунд ее взгляд коснулся шрама, но она сразу отвела глаза.

— Тебя я запомню.

Я не нашелся, что ответить. В горле пересохло. Я сглотнул, и звук получился громким, неестественным в этой тишине. Миранда встала. Подошла к столику, налила воды в глиняную кружку, протянула мне. Я взял. Вода была холодной, чистой, без привкуса ржавчины или тухляка. Я выпил до дна.

— Тебе нужно поспать, — сказала она. — У тебя глаза красные. И руки до сих пор дрожат.

— Я не могу. Мне нужно идти.

— Куда?

Я не ответил. Она не спросила снова. Просто кивнула и отошла к окну. Встала спиной ко мне, глядя на улицу сквозь мутное стекло. Ее силуэт был тонким, почти прозрачным в сером свете дня, и я вдруг подумал, что она похожа на свечу — горит ровно, но стоит дунуть, и погаснет.

Я встал. Подошел к ней. Остановился в шаге.

— Спасибо, — сказал я.

Она не обернулась. Только плечи чуть дрогнули — то ли от сквозняка, то ли от моего голоса.

— Приходи еще, — сказала она тихо. — Если захочешь просто посидеть. Я не скажу хозяйке. Она берет плату только за постель. За разговоры — бесплатно.

Я стоял и смотрел на ее затылок, на светлые волосы, на родинку под левым ухом. Внутри что-то шевельнулось — не жадность, не похоть, не то грязное, что я чувствовал в переулке. Что-то другое. Теплое. Живое. Мое.

— Я приду, — сказал я.

И вышел.

В коридоре было пусто. Я спустился по лестнице — ступени скрипели, но теперь этот скрип не отдавался в висках, просто был звуком, частью мира, который продолжал существовать, несмотря ни на что. В зале хозяйка что-то втолковывала рыжей девице. Лина все еще сидела у лысого борова на коленях и смеялась над его шутками. Она не посмотрела на меня, когда я проходил мимо. Я не посмотрел на нее.

На улице меня встретил ветер. Он пах рекой, дымом, гнилью — всем тем, чем всегда пахнет Паркин. Я вдохнул полной грудью и почувствовал, как жадность, наконец, отпускает. Не уходит совсем — просто ослабляет хватку, отползает вглубь, зализывает раны. Она вернется. Я знал. Но сейчас, в этот момент, я снова был собой. Кем бы я ни был.

Стон выбежал из-под куста. Хвост ходуном, язык набок, глаза горят. Он прыгал вокруг меня, тыкался мокрым носом в колени, скулил от радости, что я вернулся. Я наклонился, погладил его по загривку, почесал за ухом.

— Хороший мальчик, — сказал я. — Пойдем домой.

Он рванул вперед, но тут же остановился, дождался меня, снова рванул. Прихрамывал все еще, но уже меньше. Мы шли по улицам Паркина. Солнце уже клонилось к закату, и тени от домов становились длиннее, гуще, злее. В них прятались крысы, бродяги, чужие секреты. Я шел и думал о Миранде. О том, как она мыла меня, не спрашивая, чья кровь. О том, как сказала: «Тебя я запомню». О том, что в «Берлоге» у меня теперь есть не только ключ к волкам,

но и что-то еще. Что-то, чему я пока не мог подобрать названия. И еще я думал о Варламе. О том, что он знает. О том, что он не знает. О крысятниках, которые шныряют под городом и доносят ему о каждом моем шаге. О том, что рано или поздно он спросит, зачем я хожу в бордель. И мне придется ответить. Но это будет потом. А сейчас у меня был Стон, который бежал впереди, прихрамывая и виляя хвостом. У меня была чистая рубаша и холодный кинжал за поясом. У меня было имя — Граб, — которое я выбрал сам, и еще одно имя — Миранда, — которое она мне доверила. В Паркине этого достаточно, чтобы дожить до завтра.

Мы свернули к кладбищу. Ворота были открыты, как всегда. Могильные плиты серебрились в закатном свете, и кресты отбрасывали длинные тени на жухлую траву. Склеп чернел впереди — молчаливый, ждущий. Я вошел внутрь. Стон за мной. В коридоре было тихо. Только свечи потрескивали в железных кольцах да где-то далеко, в глубине, слышался ритмичный звук — не то капли долбили по камню, не то кто-то молился, отбивая поклоны. Я дошел до своей комнаты. Открыл дверь. На пороге замер. На моей кровати лежал конверт. Плотная бумага. Ни печати, ни надписи. Просто белый прямоугольник на сером одеяле. Я подошел. Взял конверт в руки. Бумага была холодной. Я разорвал край, достал листок. Почерк Варлама. Ровный, убогий, с наклоном влево. «Граб. Завтра у нас важный разговор. Не покидай склеп до моего возвращения. В.». Я скомкал листок. Сунул в карман. Стон запрыгнул на кровать, покрутился, укладываясь, и засопел. Я сел рядом, положил руку ему на спину. Он был теплым. Настоящим. Завтра будет важный разговор. Я закрыл глаза. И впервые за долгое время уснул без снов.

Глава 11. Пустая колыбель

Звук пришел из всех щелей одновременно. Сперва он вплеся в сон — будто птица кричит вдалеке, над рекой. Но птицы в Паркине не кричат. Они хрипят и падают. Я сел на кровати раньше, чем понял, что проснулся.

Стон уже крутился у двери, припадая на задние лапы, и терпел из последних сил. Уши — оба, даже то, что вечно висело тряпкой, — стояли торчком и чуть подрагивали, ловя эхо. Он скулил, но не просился наружу. Он слушал.

Значит, не приснилось.

Я одевался, не глядя. Рубаха прилипла к спине — в комнате было душно, хотя камень всегда держал холод. Сапоги натянул уже на ходу. Стон царапнул когтями по двери, оставив свежую борозду на старом дереве, и выскользнул в коридор первым.

В коридоре пахло так же, как всегда. Сырой известкой, копотью факелов, тем особым склепным духом, от которого шерсть у Стона вставала дыбом, а у меня просто свербело в носу. Ничего нового.

Я показал Стону на комнату, он все понял без слов, вернулся обратно. Закрыл его и двинулся. Прошел мимо келий сестер. Тишина. Дверь в комнату Варлама — закрыта на засов. Я толкнул плечом для верности. Глухо. Кабинет с книгами — тоже. Из-под двери не тянуло ни светом, ни запахом пергамента.

В столовой было пусто. Столы голые, лавки задвинуты, печь не топлена. Только в углу, на крюке, висел забытый передник Зары — серый, в застарелых пятнах, похожий на снятую кожу.

— Граб. Ты уже проснулся?

Я не вздрогнул. Уже отвык вздрагивать от его голоса. Обернулся.

Варлам стоял в проеме, ведущем к выходу из склепа. Черное облачение намокло на плечах — на улице моросило. На сапогах налипла кладбищенская глина, влажная, красноватая. Он только пришел. Лицо было спокойным, но под глазами залегли тени — не от недосыпа, от чего-то другого. От возраста. От мыслей, которые не дают уснуть даже тому, кто спит в могильной тишине.

— Ты чего такой напряженный? — спросил он, стягивая перчатки. Пальцы были сухие, на указательном правой темнело чернильное пятно от недавнего письма.

— Я слышал крик, — сказал я. — Не понял откуда. То ли снизу, то ли из-за стены.

Варлам кивнул. Не удивился. Он сунул перчатки в складки облачения и махнул мне рукой:

— Пойдем в кабинет. Я как раз хотел с тобой поговорить сегодня.

Мы шли молча. Мои шаги — гулкие, его — бесшумные, несмотря на грязь на сапогах. У двери кабинета он достал ключ — длинный, с бороздками, похожий на зуб какого-то древнего зверя. Замок щелкнул тяжело, смазано. Мы вошли.

В кабинете все тонуло в пыльном полумраке. Варлам обошел стол, чиркнул кресалом, зажег масляную лампу. Пламя выхватило из темноты корешки книг — тусклое золото тиснения, трещины на коже переплетов. Потом вторую. Тени отступили к углам и затаились. Он сел в свое кресло — продавленное, с потертыми подлокотниками — и указал мне на стул напротив.

— Итак, — сказал он.

Я сел. Кинжал был на своем привычном месте.

— Граб, в принципе я одобряю твои походы в «Берлогу», — начал он, и слова эти трещали, как сухие ветви в костре.

Я не отвел глаз. Он знал. Знал с самого начала. Крысятники, или сам воздух Паркина, или какая-то его собственная, тайная чуйка — но он знал.

— Но злоупотреблять этим нельзя, Граб. — Он подался вперед, локти на стол, пальцы сцепились в замок. — Ты молод. Кровь горячая. Это понятно. Но есть вещи, которые выше желаний плоти. Особенно для тебя. Ты ведь помнишь кто ты?

— Помню, — твердо ответил я.

Он молчал. Смотрел на меня. Не как наставник — как оценщик, который прикидывает, сколько золота в слитке.

— Шлюха может забеременеть, — сказал он. — И если это произойдет, ребенок перестает быть ее. Он становится дитя культа. Дитя смерти. Частью высшей цели. И находится он должен здесь, в склепе. Как и та, кто его носит.

Я вспомнил Марти. Ее огромный живот. Ее лицо, бледное, опухшее, когда она брела по коридору, держась за стену. «Я не могу больше лежать. Там темно». Я сглотнул. В горле пересохло.

Варлам откинулся на спинку. Скрипнула кожа, дерево.

— Ты очень умен, Граб. И способен. Возможно, когда-то тебе придется взять на себя склеп. Культ. А может, и все живое.

Он смотрел на меня, в его глазах мелькало усталое признание. Как будто он смотрел на инструмент, который служит верно, но требует все больше заботы.

— Но ты еще не готов. Время не пришло. — Он вздохнул, и этот вздох был полон горечи и усталости ожидания. — Как раз об этом нам и следует поговорить. Некоторые таинства культа были утеряны. Давно. Еще до меня. И у меня нет полного понимания относительно тебя. Относительно смерти. Лица.

Он замолчал. Тишина в кабинете стала осязаемой. Я слышал, как масло в лампе потрескивает, сгорая. Как Стон, оставленный в комнате, скребется в дверь и тихо скулит.

— Я жажду знаний, — сказал Варлам. И это было самое честное, что он произнес за все утро.

Я понимал, что он не знает главного. Моя способность проживать чужие мотивы, чувствовать их грязь, их жадность, их ревность — это было моим. Только моим. Он не знал. И не должен был узнать. А еще волки. Но ответ нужен был настоящий. Иначе он почует ложь. У него был нюх на ложь, как у Стона на крыс.

Я опустил глаза. Посмотрел на свои руки. Они лежали на коленях, ладонями вниз, и пальцы были спокойны.

— Когда я забираю жизнь, — начал я, и голос прозвучал глухо, будто из-под воды, — кинжал в моей руке реагирует. Он что-то делает со мной. Иногда он теплый. Иногда — холодный. Я ощущаю это очень ясно.

Варлам не шевелился. Слушал.

— Когда я убивал большого гостя, он был холодным. И все время потом таким и оставался. — Я поднял глаза. — Но вчера. Я забрал жизнь одного стражника. Мне пришлось.

Варлам поднял руку. Короткий, сухой жест — ладонь в воздухе, пальцы вверх.

— Я знаю об этом. Продолжай. Мне нужна суть, мальчик мой.

Я кивнул. Перевел дыхание.

Было видно, как он боится упустить хоть одну деталь, одно слово, одну букву. Его глаза горели огнем, он смотрел на меня как на бога, на проводника между мирами, на смерть.

— Когда металл вошел в него, клинок снова стал теплым.

— Граб, — прервал он. Голос был ровным, но в нем звенела та особая нота, которая появлялась, когда он подбирался к чему-то важному. — Скажи. Что происходит в этот момент?

Мысли застывали. Нужно что-то отвечать. Правду, но не всю. Правду, в которую он поверит, потому что она будет настоящей, но не откроет главного.

— Как будто в меня входит что-то, — сказал я. — Как будто я что-то обретаю. Чувствую. Но я не могу это описать.

Я замолчал. Подбирал слова. Они были скользкими, не давались.

— Сперва меня тошнило. Иногда ломает. Тело выкручивает. Я не знаю, может, это жизнь, которую я забираю, входит в меня?

Варлам смотрел на меня. В его глазах что-то происходило — как будто там, за радужкой, двигались тени, перестраивались, искали новое положение.

— То есть, Граб, — медленно произнес он, и каждое слово было как надрез на теле мертвеца, — ты хочешь сказать, что меняешься?

Я посмотрел ему прямо в глаза.

— Да.

И это было правдой.

Варлам молчал долго. Очень долго. Пламя лампы колыхнулось от нашего дыхания, тени на стенах дрогнули. Потом он медленно откинулся на спинку кресла с протяжным скрипом похожим на звук открывшейся двери в преисподнюю. Он потер переносицу двумя пальцами — жест усталого писаря, который переписал за ночь сотню страниц и все еще не видит конца.

— Это... — он запнулся. — Это интересно.

Он хотел сказать что-то еще. Я видел по его лицу — слова уже складывались, уже поднимались к языку. Губы приоткрылись.

Стук в дверь оборвал его.

Не громкий. Три удара костяшками. Ровных, выверенных, как удары метронома, который я видел однажды в лавке старьевщика.

— Войди, — сказал Варлам.

Дверь приоткрылась. В щель просунулось лицо Зары. Оно было бледнее обычного, и платок сбился набок, открывая прядь седых волос, прилипших ко лбу.

— Началось, — сказала она.

Голос был ровным, но я услышал в нем трещину. Как в старой трубе, которая пока держит, но скоро лопнет и затопит все вокруг.

— Что началось? — спросил я.

Варлам посмотрел на меня. Потом на мой шрам. Задержался взглядом на секунду дольше, чем обычно.

— Рождение, — сказал он. И поднялся.

Марти. Ее образ возник как могильная плита. Коридор. Огромный живот. «Мне страшно, Зара». Варлам уже шел к двери, поправляя облачение. Я встал. Он обернулся на пороге, посмотрел на меня через плечо.

— Позже продолжим.

И вышел.

Я постоял минуту. Провел пальцем по корешку ближайшей книги. «Анатомия бытия». Буквы выщвели, кожа потрескалась. Я убрал руку и пошел к себе.

В комнате меня встретила лужа.

Огромная, растекающаяся от двери к кровати. Стон сидел в углу, поджав хвост, и смотрел на меня с таким жалким видом, будто ждал наказания.

— Черт, — сказал я. — Совсем забыл.

Он заскулил, прижал уши. Я махнул рукой.

— Ладно. Сам виноват.

Я подобрал в углу старую, серую, оставленную Зарой тряпку, и вытер пол. Стон наблюдал за мной, не двигаясь. Когда я закончил, он подошел, ткнулся мокрым носом в колено, лизнул раз, другой. Извинялся.

Склеп вдруг наполнился звуком. Крик Марти. Он шел отовсюду — из-под пола, из-за стен, из вентиляционных отдушин. Не громкий. Глухой, придавленный толщей камня, но от

этого еще более жуткий. Не слова, она ничего не произносила. Только боль. Только бесконечное, усталое «за что».

Я обернулся. Стон лежал на подстилке, вытянувшись в струнку. Не рычал и не скулил. Шерсть на хребте встала гребнем. Он смотрел в стену остекленевшими глазами и даже не моргал.

Мне тоже хотелось закрыть уши. Я взял кинжал, сунул за пояс. Проверил нож в голенище — на месте. Взял мешочек с монетами. Тяжелый. Хватит на хлеб, на эль, может, даже на пирог с требухой.

— Пошли, — сказал я Стону.

Он поднял голову. Уши — одно торчком, второе висит — дернулись.

— Покажу тебе Паркин. Эту вонючую вселенскую дыру. Сходим на реку.

Он вскочил, забыв про лужу, про стыд и крик за стенами. Завилял хвостом так, что чуть не опрокинулся на бок. Ему было плевать на рождения, на смерти, на культы. Ему нужен был я, лица и запахи. Да и крысы.

Мы вышли через боковой вход. Морось прекратилась, но воздух остался сырым, тяжелым, пропитанным кладбищенской прелью и далеким дымом из труб Нижнего города. Стон рванул вперед, но не к воротам. Он замер у старой ограды, за которой начинался дальний край кладбища — тот, где не было ни дорожек, ни ухоженных надгробий. Нос его заходил ходуном. Он потянул воздух, фыркнул, чихнул и пошел по следу.

Я за ним.

В детстве я бродил здесь. Могилы старые, забытые, поросшие травой и каким-то цепким кустарником, который умудрялся цвести даже без солнца. Мне здесь не нравилось. Слишком тихо. Слишком скучно. Мертвые не разговаривали, а живых сюда не тянуло. Только я, изредка, когда хотелось убежать от Варлама, от сестер, от их молчаливых взглядов.

Стон прибавил шагу. Он уже не шел — бежал, прихрамывая, но быстро, тыкаясь носом в землю, в корни, в ржавые обломки старых решеток. След был горячим.

Крыса.

Огромная, жирная, она метнулась из-под старой плиты и понеслась через заросли. Стон взвизгнул — звонко, по-щенячьи — и рванул за ней. Лапа, та, что была сломана, его не беспокоила. Он летел. Прыгнул.

И пропал.

Я не сразу понял, что случилось. Только что он был — грязная шерсть, хвост трубой, уши прижаты к голове в охотничьем азарте. И вот его нет. Только глухой удар и скулеж, доносящийся из-под земли.

Я подбежал. Могила. Свежая. Края осыпались, комья глины и камни. Маленькая. Очень маленькая. Детская. Стон сидел на дне, в жидкой грязи, и смотрел на меня снизу вверх. Глаза круглые, испуганные. Он не скулил. Ждал.

Я нагнулся, протянул руку. Схватил его за шкуру, вытащил. Он был мокрый, грязный, тяжелее обычного из-за налипшей глины. Поставил его на землю. Он встряхнулся — брызги полетели во все стороны, мне на сапог, на траву, на край могилы.

И тут я огляделся.

Сначала не понял. Просто смотрел на неровности земли, на бугры и впадины, которые раньше считал рельефом. Старым, просевшим от времени. Но теперь, стоя у свежей ямы, я видел. Они были повсюду. Маленькие холмики. Без крестов. Без надгробий. Без имен. Десятки. Сотни. Ровные ряды, уходящие в туман, к дальней ограде, теряющиеся в зарослях.

Я сел на корточки. Стон подошел, прижался мокрым боком к моему колену. Дышал часто, но спокойно. Я смотрел на холмики. Маленькие. Совсем маленькие. Некоторые просели так, что почти сравнялись с землей. Другие еще держали форму. На одном рос одуванчик — желтый, яркий, единственное живое пятно среди серости.

Стон лизнул мою руку. Я погладил его по голове. По висячему уху.

— Пойдем, — сказал я. — На реку.

Мы шли к воротам. Стон бежал впереди, уже забыв про крысу, про могилу, про холодную грязь на брюхе. Он был счастлив. Он просто жил.

А я нес в себе крик Марти. И сотни маленьких холмиков без имен. И слова Варлама: «Дитя смерти. Часть высшей цели».

Река встретила нас тишиной. Вода была серой, маслянистой, почти неподвижной. У берега плавали щепки, обрывки какой-то тряпки,дохлая рыба брюхом вверх. Стон сунулся носом в воду, фыркнул, отскочил. Потом зашел по грудь, поплыл — неуклюже, по-собачьи, высоко задирая морду.

Я сел на камень. Смотрел, как он плавает. Как выбирается на берег, отряхивается, и снова лезет в воду. Настоящий. Живой.

В кармане лежала пуговица с волком. Холодная. В сапоге — нож. За поясом — кинжал. Тоже холодный.

Я сидел и думал: сколько холмов еще появится, прежде чем я пойму, кто я на самом деле? Прежде чем узнаю, кто оставил мне послание, кто оставил мне улыбку на горле? Я должен поговорить с Линой, чего бы это ни стоило. Мне нужен след волка.

Стон вылез из воды, отряхнулся и подбежал ко мне. Встал напротив, часто дыша, заглядывая в глаза: ну как, видел? я плавал!

— Пойдем обратно, — сказал я.

Он завилял хвостом. Мы пошли через город. Паркин жил своей жизнью — кричал, вонял, умирал и рождался. И где-то там, в склепе, Марти рожала новое дитя культа. Или умирала, рожая.

Я не знал, что хуже.

Глава 12. Иней

Гвозди не лезли.

Я держал третий по счету, зажав шляпку большим и указательным, и смотрел, как острие крошит дерево, уходя в сторону. Волокна расходились некрасиво, рвано, доска трескалась вдоль, и я отшвырнул молоток. Он ударился о каменный пол, подпрыгнул и замер. Стон поднял голову, посмотрел на молоток, потом на меня.

— Лежи, — сказал я.

Он не лег. Сидел в углу на старой тряпке и наблюдал, как я воюю с деревом. Пахло стружкой и сырым камнем. Я вспотел, пока тащил доски от плотницкой мастерской через полгорода, а теперь еще и молотком махал. Непривычно. Варлам учил меня обращаться с ножом, с кинжалом, с иглой и нитью, с костями и сухожилиями, но молотка в наших уроках не было.

Доски лежали криво. Я сбивал лоток — простой ящик с низкими бортами, чтобы Стону было куда ходить, когда я уйду надолго. Вчерашняя лужа у двери еще стояла перед глазами, и совесть, или что там у меня вместо нее. Пес не виноват, что его друг — безрукий идиот.

Стон подошел, ткнулся носом в мою щиколотку. Мокрый, холодный. Я погладил его по голове, по висячему уху, по шее. Он зажмурился, прижался сильнее. От него пахло псиной и пылью, но это был хороший запах. Настоящий. Он не требовал ничего, кроме еды и воды, и чтобы я возвращался.

— Почти готово, — соврал я.

Лоток разваливался на глазах. Один угол уже треснул, второй держался на честном слове и одном гвозде, который вошел ровно только потому, что я забивал его с перепугу. Я смотрел на это сооружение и думал, что из меня такой же плотник, как из Стона — парящий орел.

В склепе было тихо.

Марти больше не кричала.

Я заметил это только сейчас. Вчера вечером, когда мы вернулись от реки, ее голос еще пробивался сквозь камень — глухой, усталый, без слов, просто боль. Я заснул под него. Привык. А теперь — ничего.

Я вышел в коридор.

Факел у двери коптил, маслянистый дым тянулся к потолку. Я прошел мимо келий сестер. Все двери закрыты. Ни шороха, ни вздоха, ни того особого ощущения, что за стеной кто-то есть. В склепе обычно чувствуешь живых — даже когда они молчат, даже когда спят. Сейчас не чувствовалось.

В столовой было пусто. Столы голые, лавки задвинуты, печь холодная. На крюке в углу висел передник Зары. Я постоял, глядя на него. Потом услышал шаги.

Зара вышла из глубины коридора, из той части склепа, куда я редко заходил. Лицо серое, под глазами тени — от недосыпа? Возраста? От того, что она видела этой ночью?

— Зара.

Она остановилась, но не повернулась. Стояла ко мне спиной, и я видел, как вздымаются ее плечи — дышала тяжело, будто шла не по коридору, а тащила на себе что-то.

— Марти? — спросил я.

Она молчала. Долго. Так долго, что я уже решил — не ответит. Потом плечи опустились, и она сказала, не оборачиваясь:

— Все кончено.

И ушла. В ту же темноту, из которой появилась. Шаги стихли быстро, коридор проглотил ее.

Я постоял еще минуту. В голове крутилось: «Все кончено». Что кончено? Роды? Марти? Или что-то еще, чего я не знаю, и, может, знать не хочу?

В комнате Стон встретил меня скулежом. Лоток стоял кривой, но целый — по крайней мере, не развалился, пока я ходил. Я застелил клеенку и налил в него воды из кувшина, проверил, не течет ли. Не тек. Стон понюхал, фыркнул, посмотрел на меня с сомнением.

— Другого нет, — сказал я. — Привыкай.

Он вздохнул, лег рядом с лотком, положил морду на лапы. Глаза грустные, но терпеливые. Он ждал.

Я сел на кровать. Достал из кармана пуговицу. Волк, оскаленная пасть, старый металл. Я крутил ее в пальцах, и мысли текли сами — не туда, куда я их направлял, а куда-то вбок, в темноту.

Вчера я считал могилы. Маленькие холмики без крестов, без имен. Сорок три. Потом сбился. Может, пятьдесят. Может, больше. Детские. Сестры рожают детей для культа. Для лика смерти. И Марти была одной из них. И Эмма, наверное, тоже — та, с веснушками на носу, чья комната теперь пустая. Куда они деваются потом? Куда деваются дети?

Варлам сказал: «Дитя смерти. Часть высшей цели».

Я ждал пуговицу в кулаке. Металл впился в ладонь.

Лина. Волки. Перстень. Все это было связано. Я чувствовал это. И еще я знал, что если не поговорю с Линой сегодня, то могу не успеть.

Волки забирают девок. Хозяйка сказала: «Особый клиент». «Свидание». И смеялась, а рыжая за соседним столом давилась элем. Я должен узнать, кто они. Где их найти. И что они делают с теми, кого забирают.

Я встал. Стон тут же поднял голову, наострил уши.

— Я скоро, — сказал я.

Он не поверил. Смотрел, как я проверяю нож в голенище, как прячу кинжал за пояс. Он был прохладным. Вчерашний стражник остыл и больше не грел. Когда я взялся за дверную ручку, Стон заскулил — тихо, жалобно.

Я обернулся. Он сидел у лотка, прижав уши, и смотрел на меня.

— Я вернусь, — сказал я. — Обещаю.

Он моргнул. Я закрыл дверь. За ней — тишина. Только когти царапнули дерево раз, другой, и затихли.

Коридор. Факелы. Сырой камень под ногами. Я шел к выходу и думал о том, что в Паркине обещания ничего не стоят. Особенно те, которые даешь собакам.

Боковая дверь склепа вела прямо на кладбище. Я вышел и оглянулся.

Дальний край кладбища, где не было дорожек, тонул в тумане. Там, за зарослями, за старыми оградами — маленькие холмики. Теперь я их видел. Даже сквозь туман. Даже не глядя.

Я пошел к воротам. К городу. К Лине.

Время утекало, как вода из треснувшего кувшина. Я чувствовал это кожей.

Вечер пришел в Паркин не постепенно — он упал сразу, как захлопнутая крышка гроба. Только что было серое небо, а теперь — чернота с желтыми пятнами масляных фонарей, которые раскачивались над улицами и бросали на булыжники рваные круги света. В этих кругах можно было разглядеть людей, и я учился читать по силуэтам: кто идет домой, кто ищет, кто прячется.

Я шел к «Лысой берлоге» через Нижний город, уже привычный маршрут. Мимо кожевенных мастерских — запах кислоты и падали, который уже не замечаешь. Мимо Рыбного ряда — закрытого, но все равно смердящего, потому что вонь здесь жила в камнях. Мимо таверны с выбитым окном, заткнутым тряпьем. Паркин вечером становился собой по-настоящему — сбрасывал дневную суету и оставлял только то, что есть на самом деле: голод, страх и тьму.

Я думал о Варламе.

Разговор засел в голове как заноза — не больно, но постоянно ощущаешь. «Дитя культа. Часть высшей цели». И детские холмики на дальнем краю кладбища, которые я нашел вместе со Стоном. Я считал их, пока шел обратно к воротам. Сбился на сорок третьем. Потом перестал считать.

Стон остался в склепе. Я закрыл его в комнате, поставил миску с водой и кусок вчерашнего хлеба. Пес смотрел на меня с кровати, будто знал, что я иду туда, куда лучше не ходить. Я почесал его за висячим ухом, сказал «скоро», и вышел. Дверь скрипнула. За ней — тишина.

Сейчас я жалел об этом.

Просто Стон рядом — он живой, не требует объяснений и не задает вопросов. А сегодня вечером вопросы висели без ответов.

Я свернул в переулок перед последним поворотом к «Берлоге» — привычно, не думая, просто так шел всегда, через этот переулок короче — и остановился.

У дальнего конца, там, где переулок выходил на улицу, со стороны борделя вышел человек.

Я замер. Пытался разобрать детали.

Человек был в черном — широкий плащ, капюшон надвинут, под ним ничего не разглядеть. Он шел уверенно, будто понимая, что никто не посмеет его остановить. Широкие плечи. Прямая спина. Он повернул голову к переулку, где я стоял, посмотрел во тьму вышел за следующим углом и исчез.

Я стоял еще секунду. Две. Прислушался. Ни звука, кроме обычного городского шума — далекий крик, звон где-то в тавернах, собачий лай. Человек растворился в Паркине так же легко, как растворяются все, кто умеет это делать.

Я пошел к «Берлоге».

Плашка над входом не скрипела. Ветра не было, воздух мертвый, и это само по себе было неправильно — обычно тут всегда тянуло с реки, всегда качалось что-нибудь. Я замедлил шаг. Остановился в нескольких шагах от двери.

На двери был лист.

Белый, прибитый гвоздем прямо в дерево — криво, второпях, гвоздь вошел наискосок и торчал шляпкой. Я подошел. Буквы крупные, написанные чем-то темным, не чернилами — слишком густо, слишком неровно.

«Закрето».

Одно слово. Больше ничего.

Я смотрел на него. На дверь. Окна — темные. Ни одного огня. «Берлога» никогда не закрывалась раньше полуночи, а то и позже — я знал это, я приходил тут в разное время. Здесь всегда горел свет. Всегда была хозяйка, всегда кто-то сидел на лавках, всегда пахло маслом и дешевыми духами.

Сейчас не пахло ничем.

Или почти ничем. Я потянул воздух. Что-то там было.

Толкнул дверь.

Она открылась без звука.

Внутри было темно. Не склепная темнота — там хотя бы горели свечи, хотя бы факелы давали жизнь теням. Здесь темнота была другая. Городская, жирная, с запахом задутой лампы и остывшего масла. Я стоял на пороге и давал глазам привыкнуть.

Постепенно зал проступил из темноты.

Лавки у стен. Перевернутый стол в углу — один край задран, ножки в воздухе, будто его отшвырнули. Разбитая кружка на полу, лужа темная и неподвижная. Занавеска у лестницы разорвана, один конец свисает до пола. На полу — следы сапог.

Поднял голову. Оглядел зал.

Никого.

Ни хозяйки с ее желтыми зубами и оценивающим взглядом. Ни рыжей с обвисшей грудью. Ни мужиков на лавках. Никого. Зал был пуст так, как бывает пуст дом после пожара — остались вещи, остались стены, но что-то главное ушло и уже не вернется.

Я шагнул внутрь. Половица скрипнула. Звук разлетелся по пустому залу и вернулся эхом — приглушенным, коротким, будто сам зал не хотел его отдавать.

Лестница наверх. Лина. Миранда. Нет. Волки?

Я бросился бегом к лестнице.

Ступени считались автоматически. Восемь. Девять. Десять. Под ногами — все та же темнота, только чуть светлее от окна в конце коридора, через которое в здание вливался серый свет фонаря с улицы. Двери по обе стороны — закрытые. Я шел по коридору, и каждый шаг был как удар в барабан — гулко, неуместно, слишком громко для этой тишины. Я становился у второй двери, комната Лины. Прислушался. Тишина. Открыл ее, пусто, все на своих местах.

Четвертая дверь. Миранда.

Сейчас она была приоткрыта.

Тонкая полоска — не лампа. Серый отсвет из окна, преломленный, слабый, почти никакой. Я толкнул дверь.

Увидел ее сразу.

Она была там, и увидеть что-то другое было невозможно — она занимала все пространство, весь воздух, все, что осталось от этой маленькой комнаты с серым одеялом и кувшином с водой.

Миранда висела на стене.

Не висела — была прибита. Руки раскинуты в стороны, над головой, и в каждом запястье — гвоздь. Большой, кованый, вошедший в дерево по самую шляпку. Ноги — тоже раскинуты в стороны, в каждой лодыжке по гвоздю. Она была повернута вниз головой — светлые волосы свисали к полу, и в них запутались собственные пряди, слипшиеся, темные от крови. Платье — то самое легкое, в котором она спускалась по лестнице, — разорвано. На коже — следы пальцев, синяки, уже начавшие темнеть. Рот был зашит. Черной нитью, стежки неровные, торопливые — не хирургические, человек, не привыкший к такой работе. Кто-то делал это быстро. Кто-то хотел, чтобы она молчала, но не сразу умерла.

Она была еще жива.

Грудь двигалась — едва, почти незаметно, — но двигалась. Ноздри раздувались. Глаза были закрыты, но не так, как закрывают глаза мертвые — у мертвых веки расслаблены иначе, я знал это хорошо, я провел в склепе достаточно времени, чтобы знать. У нее веки были сжаты. Напряжены. Она еще чувствовала.

Я шагнул в комнату.

Что-то хрустнуло под сапогом. Глиняная плошка — та самая, что стояла на подоконнике. Огарок свечи рядом. Кувшин с водой опрокинут, лужа впиталась в щели между досками.

Подожел к ней вплотную.

Вблизи все было еще хуже. На запястьях вокруг гвоздей — разорванная кожа, она пыталась вырваться, еще когда ее держали, и движение разорвало ее. Нить на губах при близком рассмотрении была грубой, такой зашивают мешки с зерном. Стежки глубокие — нить прошла через кожу, не только по поверхности.

Я стоял перед ней и не двигался.

В голове было пусто. Я видел что-то настолько несправедливое, что разум просто остановился, отказываясь это обрабатывать. Я смотрел на ее лицо. На закрытые веки. На нить, пересекающую губы. На светлые волосы, свисающие к полу.

Она пошевелилась.

Едва. Пальцы правой руки — те, что были ниже гвоздя — чуть согнулись и разогнулись. Как будто она пыталась схватить жизнь. Или почувствовала, что смерть рядом.

Я вытащил кинжал.

Металл был холодным.

Я держал его в руке и смотрел на нее. Смотрел долго.

Я знал, что нужно сделать.

Это было не решение. Решения принимают, когда есть выбор, сейчас выбора не было. Она умирала. Медленно, в темноте, в этой комнате, где еще пахло мылом и чистым телом, и этот запах теперь смешался с запахом крови и страха, и смесь была невыносимой, потому что я помнил этот запах без крови — просто мыло, просто живой человек, который мыл меня и не задавал вопросов.

«Тебя я запомню», — сказала она.

Я поднял кинжал.

Рука была твердой. Она не дрожала. Я умел это делать. Быстро, точно, без лишнего. Три секунды до смерти. Это была милость. Единственное, что я мог ей дать.

Лезвие коснулось ее шеи, проступила первая капля.

И кинжал стал ледяным.

Не просто холодным. Он стал ледяным так, как бывает лед в разгар зимы — не температура металла, а что-то глубже, идущее изнутри клинка, из самого его сердца, из ста тридцати лет, которые он пролежал в братской могиле. Иней. На рукояти выступил иней — белый, тонкий, как дыхание на морозе, — и пополз вниз по клинку, и там, где лезвие касалось ее кожи, иней таял, и капли падали на пол почти беззвучно.

Я чувствовал холод в пальцах. Потом в ладони. Потом в запястье.

Нажал.

Кинжал вошел в ее шею, и меня согнуло надвое. От давления. Казалось, внутри лопнул нарыв, и гной хлынул внутрь, в грудную клетку. Просачивался в горло. Заливал глазницы. Я не терял сознание. Хуже. Я перестал быть один. Они все были там. Все, кого я убил. Похоть из переулка у фабрики, ревность Сэма, жадность стражника, страх Лютого — все они вышли на волю и заняли места, которые для них не предназначались. Незваные гости. Наблюдатели? Хозяева? Я умирал, чувствовал, как перестаю быть собой.

Не сразу. Не целиком.

Что-то, там, в этой внутренней темноте щелкнуло.

Как засов.

И стало темно.

Глава 13. Гончая

Я еще слышал себя. Откуда-то снизу, как слышишь собственный голос под водой — звук есть, слов не разобрать.

Но и звук пропал.

Потом меня не стало.

Я не видел его. Я чуял.

Знал, куда он пойдет, где попытается спрятаться. Не уйдет. Моя добыча.

Голод. Я так голоден, что это невыносимо. Сильнее боли. Сильнее страха.

Они молчат. Не говорят, я знаю: они тут. Кто вы, мрази? Что вам от меня нужно? Найду тебя.

Я не мог встать. Тело корчилось на полу, выгибалось под разными углами. Позвоночник хрустнул. Мышцы, которые секунду назад были моими, сокращались. Пальцы разжались сами — кинжал звякнул о доски. Звук был далеким, будто из-под воды. Я лежал щекой в луже — не вода, что-то липкое, остывающее — и смотрел на трещину в штукатурке. Она шла от угла к окну и пульсировала в такт сердцу. Или не моему.

А потом пришла чужая жизнь.

Они не прорывались — они просачивались. Как вода в трюм. Как гости, что пришли в чужой дом, сбросили мокрые плащи и сели за стол, не спрашивая разрешения. Сначала — жар в паху. Он поднялся, разлился по животу, ударил в грудь. Тело вспомнило, как сжимать бедра. Как дышать коротко, рвано. Как расширять зрачки до черных дыр. Похоть узнала свою обитель и расправила плечи. Следом — лед в животе. Крысиный холод сжал желудок, заставил пальцы скрючиться, искать опору. В ушах зазвенело от чужого страха. А где-то в глубине ребер свернулся узел жадности. Ладони зачесались от фантомной тяжести монет, которых там никогда не было. Тело помнило вес чужих кошельков.

Я собирался заново — и собирался неправильно. Я попробовал поджать ногу. Она дернулась вперед, протаскив меня животом по половицам. Рубаха намочла, оставляя след. Щепка впиалась в предплечье — я зафиксировал боль как факт, где-то на периферии сознания, но не почувствовал ее. Нервы были заняты. Они слушали других. В горле стоял ком. Я хотел позвать — вырвался только сип.

Она висела. Ее мертвые глаза больше не моргали, кровь стекала на пол, и в ней я увидел себя. Это был не я. Из отражения смотрели глаза без белков — одни зрачки, черные, как коридоры склепа. А шрам на шее... он улыбался. Края рубца натянулись, разошлись сами собой, обнажая розовое нутро. Вторые губы. Они радовались.

Холод накрыл с головой. От моих пальцев по половицам пополз иней — тонкий, поскрипывающий, он прорастал между волокнами дерева и двигался к стенам. Дыхание вырывалось паром и оседало на губах Миранды, на ее зашитом рте, на нитях, которые покрылись изморозью.

Потом жар. Холод и пламя разом, без границы между ними.

И силы возвращались. Чужие.

Взятые у тех, кто теперь сидел внутри и смотрел моими глазами.

Я поднялся. Упал, ударился плечом о ножку перевернутого стола. Боли не было. Только толчок. Поднялся снова. Устоял.

Кинжал. Поднял. Сжал рукоять. Ладонь прилипла к металлу сразу — как кожа к железу на морозе. Отдернешь — останешься без кожи. Рвать с мясом. Я не рвал. Стоял.

Я поднял левую руку и посмотрел на нее.

Пальцы мои. Шрам на среднем от ножа. Мозоль на указательном от рукояти. Все как всегда. Но рука поворачивалась медленно, проверяя свои возможности. Кисть провернула

запястье с чужой, плавной уверенностью. Сигнал от мозга не дошел — будто перерезали жилу между мыслью и движением. Я ей не управлял. Она была не моя, она была общая.

Они поднялись из того места, где раньше был я. Не по очереди, не споря — просто хлынули и встали, заняли места на трибунах участников.

Грязная, липкая похоть. Жгучая ревность. Ноющая жадность. Холодный крысиный страх.

Они говорили не словами. Они говорили через тело. Чужим потом на моей спине. Чужими руками, которые помнили, как сжимать горло. Чужим ртом, в котором стояла желчь человека, всю жизнь бравшего чужое и никогда не наедавшегося.

И голод. Голод был общим. Он пульсировал в деснах, в кончиках пальцев, в глазах. Мир стал серым, но по нему тянулся след. Тропа зверя. Его след. Того, кто вышел из переулка в черном плаще. Того, кто вбил гвозди. Того, кто зашил рот.

Нить натянулась и потащила меня за собой.

Я вышел в коридор. Плечо задело косяк, щепка вошла глубже — я знал это, но не чувствовал. Ноги не касались половиц — так казалось. Толкнул входную дверь. Вышел. Остановился на крыльце.

Улица пуста. Вдохнул — глубоко, медленно. Да, это он. Запах предстоящей смерти. Запах страха, смешанный с потом и живой кровью. Запах зверя, который думает, что вожак. Но на самом деле корм.

Фонари не горели. Или горели, но свет их не достигал моих глаз — только серые контуры домов, булыжники под ногами, далеко справа остов ломовой телеги. Мертвые зоны. Он мог прятаться где угодно. Но запах — его суть — уходил в лабиринт переулков.

Я шагнул туда.

Тени шевелились у стен, силуэты брели в ночи. От них разило грехами. От всех. Они все воняли трупам и землей. Не моя добыча. Я плыл по следу.

Переулок, второй, третий. У таверны «Золотой зуб» стояло несколько пьяниц. Один привалился к стене, второй гадил у порога, третий сидел на корточках и блевал. Окна светились мутным желтым. Один свистнул девушке, которая перебежала улицу с корзиной белья:

— Эй, милая, не убегай! Я познакомлю тебя с моим другом, его зовут Толстый Ух!

Он загоготал. Смех оборвался, когда я поравнялся с ним. И посмотрел ему прямо в глаза. Он попятился и упал на задницу в лужу мочи, и полз со слезами на глазах. Что-то выль или скулил, не разобрать. Он увидел что-то, чему не было названия. Рот закрылся сам.

Я шел дальше. Голод, как я голоден.

След был горячим. Живым. Он тянул меня вперед — не торопил. Охотник не торопится. Капкан уже установлен, осталось только прийти и замкнуть его.

Я свернул за угол.

Остановился.

Посреди улицы стояла та самая девушка с корзиной. Она что-то крикнула пьянице через плечо и засмеялась — легко, по-настоящему. Рядом с ней стоял мужчина в куртке кожевника. Он обернулся на ее смех и улыбнулся ей. На поясе у него висел кожаный мешочек с инструментами — маленькое шило, моток веревки. Руки темные от дубильных растворов. Он только что закончил работу. Он шел домой. Он был счастлив.

И тут — горячее, жгучее — ударило в лоб.

По виску потекла капля пота. Воздух обжигал ноздри. Девушка. Кожевник. Моя.

Я дернулся. Рука легла на кинжал, в глазах потемнело от злости. Я уже шагнул к ним — и замер.

Стоп. Этот голос. Я узнаю его. Ревнивый ублюдок, который перерезал горло собственной жене только за то, что она посмотрела на другого. Он сидел внутри. Он скалился, глядя на эту незнакомку, и тянул мои руки к ножу.

Это не мой след. Мой — впереди. Голод.

Я заставлял себя разжать пальцы. Отвернуться. Нить, тянувшая к добыче в черном плаще, снова натянулась. Запахло кровью и уверенностью. Она ведет дальше, за угол.

Нет. Стой. Он смотрит на нее, она твоя, он добыча. Моя. Моя. Рука легла на рукоять. Пальцы сомкнулись. Не мои. Их.

Ревность рванула поводок. Я рванулся, как пес сорвавшейся с цепи. Лезвие выскользнуло из-за пояса, скользнуло по мертвому воздуху.

Он протянул руку. К ней. К ее плечу.

Мешок гнили. Вонючий, липкий. Осмелился тронуть чужое.

Металл смерти. Лезвие вошло. Не в тело. В тушу. В грязь.

И не вышло.

Где-то в глубине я знал. Этот запах — дубильный раствор, мозоли, усталость после работы. Не мой след. Не мой. Но руки уже не слышали.

Рука дергалась сама. Втыкала. Вынимала. Втыкала. Без остановки. Без мысли. Только ритм. Чужая ярость, ставшая мышцей, костью, сухожилием. Он не упал. Пытался отшатнуться, но клинок уже жил в нем. Бился в такт моей воле. Моему плечу. Моей спине. Хрипел. Пытался зажать лезвие руками. Пальцы соскальзывали. Кровь била фонтанами, мочила сапоги, заливала бульжники. Я ничего не чувствовал. Только толчки. Соппротивление мяса. Хруст, когда острие находило кость и шло дальше.

Мешок гнили дергался. Перестал. Стал тяжелее.

Ревность уснула. Сытая.

Рука дернулась. Вырвала кинжал. Звук, как рвущаяся ткань.

Он рухнул. Лицом в лужу. Молчал.

Девушка закричала.

Не слово. Рев. Пронзительный. Рвущий. Он ударил в уши, в зубы, в кости. Корзина упала. Белое белье рассыпалось по камням, впитывая красное, черное.

Внутри шелкнуло.

Горячее. Липкое. Тяжелое.

Она поднялась из глубины. Забила дыхание. Закрыла все. Не ее лицо. Не ее крик. Только тело. Добыча. Препятствие.

Кинжал упал. Звякнул.

Шаг. Не к нему. К ней.

Руки на плечах. Сильно. Властно. Она рвалась, царапала, кричала, задыхалась. Сила была не человеческая. Сила всех, кто брал. Кто не спрашивал.

Нож из голенища, в ладонь. Пальцы сомкнулись на простой, грубой рукояти — не Дар смерти, не священное орудие. Просто инструмент. Грязный, как то, что сейчас происходило. Я не понял, как он там оказался. Не моя мысль. Их.

Лезвие. Холод. Кровь. Тишина.

Похоть насытилась. Свернулась. Оставила пустоту.

Пустота была моей. Только моей. Первое, что было моим за все это время. Я сидел в ней, на дне, и не двигался.

Нож на место.

Поднял дар. Кинжал в руке покрылся инеем. Белым. Поскрипывающим. Он пил не жизнь. Он пил меня.

Я поднял голову. Внутренний хор затих. Ревность спала. Похоть переваривала.

Но голод — нет. Голод был общим. Пульсировал в висках. В кончиках пальцев. В глазах.

След. Он тянулся дальше. За угол. В лабиринт. Тот, кто вбил гвозди. Тот, кто зашил рот. Запах мокрой псины. Волка.

Я шагнул. Ноги знали дорогу. Ноздри чуяли цель.

Я не думал. Я шел.

Гончая не останавливается. Гончая идет по следу.

Глава 14. Кто здесь?

Паркин изменился. Нет, не город. Изменился я.

Дома расступались. Уступали. Стены становились ниже, переулки — уже, город сжимался, пропуская меня, как бурлящий поток перед водопадом. Люди не смотрели. Они чувствовали. Я видел — спины впереди идущих напрягаются, шаги учащаются, фигуры ныряют в подворотни, захлопывают двери, гасят свечи. Не сознательно. Инстинктивно. Животные чувствуют смерть.

Собаки замирали. Видели меня — и поджимали хвосты, ныряли под телеги, в щели между булыжниками. Даже крысы растворялись в тени. Паркин затаил дыхание. Он знал: пришел тот, кто оставит после себя мусор.

Нить висела в воздухе, четкая, пульсирующая. Мокрая шерсть. Я шел по ней. В голове пульсировал Голод. Он требовал крови. Он требовал конца.

Дзынь. Дзынь-дзынь.

Монеты. Серебро, пересыпаемое из ладони в ладонь.

Звук ударил в мозг, как раскаленная игла. Внутри зашевелилось, зачесалось. Пальцы сжались. Перед глазами всплыл блеск — манящий, восхитительный блеск монет, цепей, краденого добра, чужого золота, перетекающего в мои ладони. Желание схватить. Сжать. Забрать. Это было не мое желание. Но сейчас оно билось в моих венах.

Я свернул за угол.

Лавка. Угол, где ютился скупщик краденого. Грязный брезент, мешки с добром, ржавые мечи, свернутые ковры. И он. Толстый, в засаленном жилете, лысина блестит в полутьме. Считает. Бормочет себе под нос. Лицо довольное, сытое, жадное. Перед ним на ящике — кучка серебра и меди. Он пересыпает их, проверяет на зуб, укладывает в кожаный мешочек.

Жадность внутри взвыла. Она перекрыла запах Волка. Слепила.

Тело двинулось само. Я вырвался из тени.

Он даже не успел поднять глаза. Руки дернулись к куче, пытаюсь прикрыть ее телом. Глупец.

Голодный кинжал вошел под ребро, скользнул вверх, рассек легкое, задел сердце. Вышел.

Скупщик захрипел. Рот открылся, но вылетел только пузырь крови. В предсмертной агонии попытался встать, но ноги уже не слушались. Повалился на ящик, сполз на землю, продолжая сжимать в руке горсть монет.

Жадность внутри ликовала. Бери! — шептала она. Забирай все! Оно теперь твое!

Рука тянулась к мешку. Пальцы уже коснулись холодной кожи, нащупали твердые кружки монет. В голове звенело.

В ноздри ударил запах.

Волк. Мокрая шерсть. Металл. След.

Он был здесь. Рядом. Уходил. Ждал, пока я задержусь.

Голод — истинный, мой, тот, что тянул меня через весь Нижний город, — рванул сильнее, чем блеск монет. Он был старше. Он был важнее.

Кулак разжался. Монеты выскользнули из пальцев, со звоном рассыпались по грязи. Я не взял ничего. Пусть лежат. Это шум. Это труп, который хотел меня задержать.

Вытер кинжал о жилет мертвеца. Лезвие осталось ледяным. Я перешагнул через тело.

След вел дальше.

Запах менялся. Вонючая сырость Нижнего города оставалась позади. Воздух стал суше. Прохладнее. Камни под ногами — ровнее. Мостовая сменилась аккуратной плиткой.

Мост. Переход через канал, отделяющий гниль Нижнего города от каменной чистоты Верхнего.

Стража у ворот. Двое в латах с копьями наперевес. Стояли прямо, но когда я приблизился, я увидел, как напряглись их шеи. Как плотнее сжались пальцы на древках.

Я не остановился. Не замедлил шаг.

Гончая не смотрит на препятствие. Она его пробивает.

Верхний город. Позади лежало два тела.

Нить уходила вглубь. К особнякам с высокими окнами. К садам, огороженным коваными решетками.

Псы за оградами поджимали обрубленные хвосты и скулили в траву. Они чуяли: здесь идет не хозяин. Здесь идет хищник.

Волк пришел домой.

А я иду — за ним.

Похоть дернулась.

Мимо, в сопровождении двух слуг с факелами, прошла женщина в темных шелках. Запах ее кожи — дорогой, с нотками лаванды — ударил в ноздри. Руки потянулись вперед, пальцы скрючились.

— Нет, — прорычало то, что сейчас было мной. Голос вышел сквозь зубы, сквозь стиснутые челюсти. Ногти вдавились в ладони.

Жадность зашипела, глядя на золотую цепь у проходящего купца. Возьми. Просто бери.

— Нет, — повторил я, сжимая рукоять кинжала. Холод лезвия был единственным, что принадлежало мне. Он гасил пожар чужих желаний.

Нить вилась дальше. Мимо особняков, мимо садов, где в темноте белели гипсовые статуи.

Волк не останавливался. Шел уверенно. Знакомой дорогой.

Силуэт.

Подходит к своей небольшой конуре. Оборачивается. Видит меня.

Рука ложится на ручку двери, другая начинает трястись и не попадает ключом в замок.

— Ты? Нет Как?

Ключи звякнули и упали на каменную плитку. Он попятился, спиной уперся в дерево двери. В глазах — звериный ужас. Он узнал меня. Шрам. Лицо. Тень склепа.

Я не дал ему договорить.

Гончая не лает. Гончая кусает.

Дикий рывок. Кинжал вышел из-за пояса. Ледяной иней царапнул его плащ. Его рука спряталась в рукаве. Холод в боку — резкий, чистый, как ледяной осколок. Он успел. Воткнул мне в бок свой нож. Глубоко. Под ребра.

Я не чувствовал боли. Только выдохнул. Воздух ушел. Колени подломились. Но вес тела сделал свое. Мы рухнули вместе. Я сверху. Он снизу.

Кинжал в моей руке уже не был в нем. Я перехватил его запястье, вырвал свой клинок из его живота и всадил снова. В горло. В хрящ. Пока не перестал дергаться. Пока не затихло дыхание. Пока кровь не залила мои сапоги и не смешалась с той, что текла из моего бока.

Голод отступал. Медленно, нехотя.

Внутри черепа все сжалось.

Кто-то давил мой мозг в кулаке. Не стучался. Вышиб дверь тараном. Хлынул внутрь, заполняя трещины в сознании, вытесняя хор мертвецов, давя все, что было выпущено на волю. Те отступали, жались, замолкали. Их место занимала одна мысль. Чистая. Абсолютная убежденность.

Я видел неясно. Края рвали, плыли. Зрение двоилось. Боль в боку запульсировала, смешивалась с холодом клинка, с тем, что росло внутри, выжимая меня самого наружу.

Сквозь туман проступила тень. Человек в плаще. Лица нет — только контур, только глубокая тень, скрывающая черты. На руке, сжимающей край стола, — перстень. Волк, обнаживший зубы.

Голос. Низкий. Без эха. Говорил прямо в кости.

— Они сеют смерть. Нужно убирать Лину из игры. А той заткнуть рот. Отправь им послание.

Видение мигнуло. Растворилось в красной пелене, но отпечталось в сознании. Боль в боку ударила волной. Я пытался вдохнуть. Горло сжимало.

Внутри шла война. То, что пришло с мертвецом, билось в ребра, требовало места, требовало, чтобы я понял, согласился. Оно было праведным — в своем искаженном мире. Она умерла не для удовольствия. Ее убили, чтобы выжечь заразу, закрыть дверь, в которую я стучал. Юноша из склепа посещал «Берлогу». Решил: она связана с культом. Смерть сеет смерть. Он просто чистил поле.

Нет. — хотел сказать. Но рот не открывался.

Переключатель не щелкнул. Его заклинило. Ржавый, заросший грязью механизм, который пришлось ломать плечом. Я выгибался на полу, пальцы скребли дерево, ногти ломались. Чужая воля давила на мозг, пытаюсь сделать меня своим проводником.

Я бился. Изнутри. Рвал по живому. Вытеснял, как опухоль. Кричал без звука. Кровь из бока текла, смешивалась с потом. Тело дрожало. Кости хрустели.

Что-то дернуло штанину. Резко. Тревожно.

Я моргнул. Туман дрогнул.

Стон.

Он вцепился зубами в ткань моих штанов, чуть выше сапога, и тянул. Тянул назад. Из всех сил. Голова моталась из стороны в сторону, уши прижаты, в горле сидел низкий, непрерывный рык. На меня. Он пытался оттащить меня от смерти. От того, что уже сделал. Что еще могло поглотить.

Я опустил взгляд. Пальцы разжались. Кинжал выпал из руки, звякнул о доски.

Дышать. Нужно дышать.

Я сделал вдох. Глубокий. Рваный. Воздух вошел, обжег легкие, вытолкнул часть тумана. Боль в боку ударила волной — да, это была моя боль. Мое тело. Мой бок. Мой шрам.

Я сжал зубы. Переключатель — наконец — встал в исходное положение. С треском. Со скрежетом. С болью, которая отзывалась в каждой косточке. Но встал.

Хор внутри замолк. Мгновенно. Будто выдернули пробку.

Осталась тишина. И тяжелое, сырое дыхание. Мое. И Стона.

Я откинулся на спину. Паркин расплывался, но я видел его. Я был здесь. Вернулся.

Стон отпустил штанину. Лизнул мне подбородок. Быстро, коротко. Проверил, что я настоящий. Что я — я.

Я поднял руку.

Смотрел на нее долго. Не понимал, что вижу. Пальцы. Ладонь. Бурые разводы между костяшками, въевшиеся в линии кожи. Мозг не давал названия. Просто — темное. Теплое раньше. Сейчас холодное.

Где-то рядом скрипнула доска. Или это ребро. Или это смех — тот самый, легкий, у таверны, который я больше не слышу, потому что сам его оборвал.

Меня не согнуло. Не вывернуло. Просто навалилось — без звука, без формы, как вода в трюм. Я сидел, прижав ладонь к земле, и чувствовал холод плитки сквозь кровь на коже. Чужую. Не мою.

Кожевник с мозолями. Девушка с корзиной. Они не были целью. Они просто стояли не там.

Стон прижался к моей ноге. Лохматый, уставший.

Я смотрел на руку. Тело было моим. Всегда моим. То, что сидело внутри, — чужое. Но рука, которая держала нож, — моя.

Это не отпустит. Я знал это так же ясно, как знал запах склепа и холод кинжала. Не сегодня. Не завтра. Никогда.

Я закрыл глаза. Сидел. Не считал время.

Потом поднял кинжал. Спрятал за пояс. Разжал кулак — пуговица лежала на ладони, холодная, скалящийся волк смотрел вверх.

Вот для чего. Не для хора внутри. Для этого. Для имени за перстнем.

Я встал. Ноги дрожали.

— Тихо, Стон, — прохрипел я. Голос был моим. Хриплым, сорванным — но моим.

Сапог скользнул по мокрой плитке. Бок дернуло жаром — тяжело, будто туда вбили раскаленный клин. Ноги пошли сами. Один шаг. Второй.

Мир качнулся. Город расплылся в серую кашу. Каменный пол метнулся навстречу быстрее, чем я успел прикрыть голову.

Последнее, что я почувствовал — теплая шерсть у щеки.

Потом ничего.

Глава 15. Псарня

Сознание возвращалось не заливающим закрытые глаза светом — звуком.

Лай. Собачий лай. Он отзывался в черепе острыми ударами клыков и дробился на десятки глоток — высоких, низких, силовых, захлебывающихся. Я слышал его раньше, чем приходило понимание, что жив.

Запах. Проник в ноздри и щекотал их изнутри.

Псина. Моча. Сырое дерево, пропитанное годами собачьего присутствия. И кровь — моя, старая, кислая, уже сворачивающаяся в бинтах.

Веки разлипались с трудом.

Зрение возвращалось с задержкой. Серое пятно каменного потолка. Балки. Грубые, темные, паутина по углам. Где-то сбоку бил дневной свет.

Бок горел.

Остро, требуя немедленного действия. Будто под ребра залили расплавленное железо, и оно застыло там. Я попробовал вдохнуть глубже — и пожалел. Воздух уперся в боль, сбился, вышел коротким силовым выдохом. Ком в горле почти выходил с внутренностями.

Живой.

Я косил глаза вниз. Грудь голая. По ребрам — бинты. Серые, грубые, стиранные-перестиранные, но чистые. Кто-то наложил их умело — плотно, но не передавил. Кто-то знал, как бинтовать ножевые. В склепе таких было много.

И все же это был не склеп.

Камень под спиной. Сухой и чужой. В склепе он дышит подземельем, тянет холодом из могильной земли. Здесь иначе.

Я повернул голову.

Стон лежал в двух шагах. Передние лапы вытянуты, морда на них. Глаза открыты. Он смотрел на меня — и рычал.

Утробно, на одной вибрирующей ноте. Шерсть на загривке стояла ежовыми иглами. Уши — оба, даже то, что вечно висело тряпкой, — прижаты.

Он смотрел на меня — и не узнавал.

Или узнавал, но не меня.

Я облизал губы. Сухие. Потрескавшиеся. Соленые — то ли от пота, то ли от крови.

— Стон, — прохрипел я.

Голос вышел не моим. Жалким. Скупым.

Пес перестал рычать. На секунду. Потом снова. Тише. Неувереннее.

Сомневается.

Понимаю тебя. Я сам сомневался. Той ночью — или сколько времени прошло? — я не был собой. Во мне сидели другие. Они гнали мое тело, как чужую лошадь, беспощадно, и я не мог натянуть поводья. Я как чума пронесся по улицам Паркина, оставив не отпечатки сапог, а реки крови. Убил того, кого искал, — волка. Но какой ценой.

И все это время Стон шел следом?

Видел. Чувал. Понимал больше, чем я сам.

Он знал: то, что ходило моими ногами, — не хозяин. Хозяин был заперт внутри.

Но как? Как ты нашел меня?

— Я вернулся, — сказал я тихо.

Он моргнул. Рычание дрогнуло. Хвост — нет, не забил, но дернулся. Раз.

Я протянул руку. Медленно. Ладонью вниз. Жест, которому он научился в первую неделю: «Свой. Не бойся».

Он нюхал воздух. Ноздри ходили ходуном. Смотрел на мою ладонь, потом на лицо, потом снова на ладонь. Я видел, как в его глазах борются инстинкт и память.

Память победила.

Он подполз на брюхе. Не вставая. Прижав уши. Ткнулся мокрым носом в мои пальцы. Вдохнул. Еще раз. И лизнул — быстро, будто пробуя на вкус.

— Хороший мальчик, — прошептал я.

Он заскулил. Забрался ближе, положил морду мне на плечо, и я почувствовал, как его сердце колотится часто-часто, и мое — тоже.

Мы лежали так минуту. Может, две.

Потом я повернул голову в другую сторону.

Рядом с подстилкой, на которой я лежал, на расстоянии вытянутой руки, на серой тряпиче покоился кинжал. Мой кинжал. Дар смерти. Он лежал так, словно может понадобиться в любой момент. Рукоять — ко мне. Лезвие — в сторону. Кто-то положил его сюда намеренно.

Иней сошел. Металл тусклый. Просто кусок железа из могилы неуспокоенных душ.

Я протянул руку. Пальцы сомкнулись на рукояти.

Металл был теплым.

Я сжал рукоять сильнее. Ничего не происходило. Ни голосов, ни толчков. Только я. Только кинжал. Только тишина.

— Помирились, — прошептал я.

Металл молчал. Но тепло не уходило.

Хотел сунуть его за пояс. Пояса не было. Штаны — чужие, грубые, мешковатые. Кто-то меня передел. Я осмотрелся в поисках своих вещей, голова кружилась, отложил это на потом.

Снаружи снова зашлись лаем собаки.

Сейчас слышал их яснее. Много. Десятки глоток. Они лаяли, один начинает, и остальные подхватывают. Шум то нарастал, то стихал, и в промежутках были слышны другие звуки: шаги, тяжелые сапоги по утоптанной земле, скрип двери, грубый мужской голос, оборвавшийся на полуслове.

С трудом сел.

Бок взорвался болью. Перед глазами поплыло — серые круги, тени, снова круги. Зубы сжались, ладони уперлись в каменный пол, удержался на весу. Дышать. Медленно. Вдох. Выдох.

Когда зрение вернулось, огляделся.

Комната была маленькой. Не комната — каморка. Каменные стены, низкий потолок, одно окно под самым сводом — узкое, пропускающее внутрь серый дневной свет. Пол земляной, но утоптанной до твердости камня. В углу — пустая миска. У двери — ведро. На стене — крюк, на котором ничего не висело.

И подстилка. Две подстилки. Моя и Стона.

Кто-то знал, что пес будет со мной.

Медленно встал, опираясь о стену. Бок протестовал, но ноги держали. Стон тут же поднялся, прижался к моей ноге; я ощутил его тепло сквозь ткань чужих штанов. Мы доковыляли до двери.

Толкнул.

Заперто.

Не удивительно.

Опустился на колени — больно, слишком больно, — заглянул в щель между досками. Снаружи был двор. Грязная истоптанная земля. Высокий забор из заостренных бревен. И клетки. Много клеток. Деревянные, с железными прутьями, тесные, грязные. В них метались псы — крупные, поджарые, с обрубленными хвостами и купированными ушами. Бойцовые. Охранные. Они лаяли, выли, грызли прутья.

Псарня. Это была псарня.

Я отполз от двери, привалился спиной к стене. Дыши. Думай. Вспоминай.

Последнее, что в памяти — плитка. Кровь. Волк с перстнем, умирающий у собственной двери. Стон, тянущий меня за штанину. И темнота.

Кто-то принес меня сюда, перевязал. Оставил мне кинжал, а это значит шанс на выживание.

И запер дверь.

Не понятно, друг это или враг. Главное, что в Паркине друзей не бывает. Бывают только те, кому ты нужен живым — пока нужен.

Собаки за окном зашлись новым приступом лая. Стон поднял голову и ответил — резко, по-взрослому. Рывкнул.

Я погладил его по голове.

— Подожди, — сказал я. — Сейчас узнаем, кто нас приютил.

Снаружи, за собачьим лаем, слышались шаги. Тяжелые. Шаркающие. Они приближались к двери.

Я сжал рукоять кинжала.

Сквозь щели в досках прорисовался силуэт. Низкий, нагнулся, шарит глазом в замочную скважину. Бегающий зрачок.

Одно движение — и лезвие пройдет через яблочко прямо в мозг.

— Пссс. Все на месте? Все в порядке? — присвистывая, заговорил голос.

— Ты кто? — как можно увереннее и угрожающе постарался я.

Стон не рычал, услышав голос, часто замахал хвостом, подбежал к двери и сел в ожидании.

— Пссс, тише! Лови.

Через окно влетел сверток. Пришлось нагнуться. Бок рвануло. С трудом поднял. Медленно развернул: хлеб, сыр, фляга с водой и записка.

Скручена в трубочку, завязана ниткой.

Развернул, глаза побежали по знакомым, с наклоном влево буквам:

«Ночью я верну тебя домой. Будь готов. В.»

Мы поровну поделили со Стоном припасы, наполнили его миску водой.

Допил остатки из фляги. Вода была теплой, с металлическим привкусом, но горло приняло ее с благодарностью. Стон уже дремал, положив голову мне на бедро. Я смотрел на его спину, на то, как мерно вздымаются и опадают ребра под свалявшейся шерстью.

В голове прокручивались последние дни. Недели. Месяцы. Вся моя жизнь превратилась в череду убийств, каждое из которых оставляло зарубку не на кинжале — во мне. Я думал, что охочусь на зверей, но с каждым шагом сам обрастаю густой шерстью и клыками. В «Лысой берлоге» я считал себя спасителем, тем, кто придет и вытащит Лину из клетки. А на деле — принес смерть прямо к дверям тех, кого хотел защитить.

Стон вздохнул во сне. Я прижал ладонь к бинтам. Тепло расплзлось по проткнутому боку.

Миранда.

Ее имя отозвалось под ребрами тупой болью, посильнее, чем от раны. Я не знал ее настоящего имени, да и знал ли кто-нибудь? Она просто оказалась не в то время, не в том месте. Просто мыла меня, когда я был грязным и потерянным. А еще она меня запомнила. И этого хватило, чтобы кто-то в черном плаще решил: она — ключ, она — дверь, через которую можно достучаться до культа. Отправить послание. Варлам говорил, что наша сила — в тени. Но тень падает только от света. И этот свет, этот проклятый перстень с волчьей пастью, выжиг все, к чему я прикасался.

Бок дернуло. Я сжал зубы, дождался, пока боль отступит.

Я прикрыл глаза. Не для того, чтобы уснуть, — чтобы вызвать ее.

Миранда не пришла видением. Она пришла запахом. Серое мыло с темными прожилками, которым Зара отмывает жирные котлы. Почувствовал его так ясно, будто она снова стояла рядом, отжимая тряпицу над тазом. Ее холодные пальцы снова касались моей шеи, обходя шрам, зная, что его лучше не тревожить.

«Тебя я запомню».

Она сказала это, не глядя на меня, стоя у мутного окна, и в ее голосе была бодрящая уверенность. Одна живая душа в городе мертвых запомнила меня. И это ее убило.

Волк в черном плаще не был безумцем. Он был следопытом. Он шел по следу, который я наследил, сам того не желая. Решил: смерть сеет смерть. И чтобы выжечь заразу, он должен был уничтожить все, к чему я прикасался. Ее рот был зашит не ради забавы. Это было послание. Мне. Заткнись. Не ищи. Не суйся.

Зубы сжались до скрипа. Где-то на границе сознания шевельнулась та самая ревность. Она узнала родственную ярость, потянулась к ней, как пес следует знакомому запаху. Я толкнул ее обратно. Задвинул засов. Тяжело. До хруста в висках. Но задвинул.

Вы там? — спросил я молча, в темноту за желудком.

Тишина. Никто не ответил. Но я знал: они там. Не спят. Ждут. И пока я сжимаю рукоять теплого кинжала, пока чувствую эту боль в боку, я — главный. Они — стая. А у стаи должен быть вожак.

Кожевник. Девушка с корзиной. Они даже не были теньями — просто эхо, просто рябь на воде, которую я, нет — они внутри меня — разорвали в клочья. Мотив. Я искал мотивы убийц, чтобы понять своего. Но что, если и его мотив был ничтожен? Страх. Глупость. Чей-то приказ, чей-то «убери», как у Лютого. Ему приказали — и он вырезал. Он был не чудовищем, а слепым инструментом. И тогда мой вопрос не «кто», а «зачем»? И главное — «кто приказал»? Я был посланием? Не в мешке, а в самом акте смерти.

Поднял свои руки. Под ногтями — грязь. Чужая кровь уже не отмывается, она стала частью линий на ладонях. Поднял кинжал, повернул его к тусклому свету из окна. Металл был теплым. Он больше не говорил со мной голосами мертвых, не плевался инеем. Он просто был. Как продолжение моей руки. Палец, который решает жить или умереть.

Варлам. Он вытащил меня из мешка и ждал восемнадцать лет, пока зверь внутри проснется. Он был уверен, что лепит оружие, гончую, которая будет кусать по его команде. Но что, если оружие вдруг осознает себя? Что, если оно поймет, что рука, держащая нож, может выбирать? Он боится этого? Он боится, что я пойму что-то, чего нет в его утерянных таинствах?

Еще одна пуговица. Лина. Нужно убирать Лину из игры. Что это вообще значит? Ее не было в берлоге той ночью. Мертва? Или она заодно с волками?

Стон заскулил во сне, перебирая лапами — гнал во сне крыс или убежал от того, что видел в моих глазах той ночью.

Сколько я здесь пролежал?

— Я больше не закрою тебя в комнате, — прошептал я, погладив его за висячим ухом. — Ты — моя тень. Настоящая. А тени должны следовать за хозяином.

Сегодня ночью он вернет меня домой. В склеп, который был моей колыбелью и моей клеткой. Там я залижу раны. Там есть ответы, которые Варлам прячет за дверью в южный зал. Там есть Зара с ее вечно поджатыми губами и счетами, которые не сходятся. Там Калисия — имя, которое звенит в тишине, как треснувший колокол.

Я больше не буду ждать, пока волки придут сами. Я найду каждого, кто носит этот перстень. Не позволю впитавшейся гнили снова взять верх. Я запру их глубоко, туда же, где лежит мертвый младенец с перерезанным горлом.

Я думал, что режу нити, а сам запутываюсь в них. В голове больше не голоса. Только тихий скрежет. Как у того засова в южном зале. Я задвинул его. Но знаю: они там. Дышат. Ждут, когда я ослабею. Они будут рваться. Будут выть. Но хозяин здесь — я.

Воткнул смертельный дар в голенище сапога, так надежнее.

Глаза прикрылись, нужно ждать. Без страха. Без нетерпения. Просто ждать, когда скрипнет дверь, и знакомый голос с присвистом скажет: «Пора».

Тьма пришла медленно. Свет в узком окне начал тускнеть. Исчезли тени на полу. Наконец, в камере осталась только серая муть да ровное, частое дыхание Стона у плеча. Я лежал, считал удары сердца в висках. Бок ныл тупо, но боль уже так не резала — она стала частью меня. Как проклятый собачий лай в ушах.

Ждал.

Скрип колеса по утоптанной земле. Тяжелые, неровные. Ось стонала. Подъезжало.

Замолкло.

Шаги. Шаркающие, знакомые. Щель под дверью перечеркнулась темной полосой — кто-то встал в рост.

Ключ в замке. Лязг. Дверь открылась.

В проеме — силуэт. Низкий, сутулый. Запах ударил в лицо: псина и навоз.

— Пссс, тише, — присвистнул голос. Сиплый, шипящий, воздух выходил сквозь сжатые зубы. — Немного повоняет. Полежай в телегу.

Я поднялся. Бок рвануло, зубы стиснулись. Выходил через «не могу». Стон уже был на ногах. Уши торчком. Хвост — вилял.

— Выходи, — псарь махнул рукой в сторону двора. — Поторопимся. Не время выбирать.

Двор в ночи казался черным колодцем. Только силуэты клеток да тусклый свет фонаря у ворот. У стены стояла телега. Обычная, с высокими бортами, запряженная тощей клячей, которая даже ухом не повела.

В кузове — горы тел. Собачьих. Крупных, мелких, с обрубленными хвостами, с клочьями слипшейся шерсти, с застывшими в агонии мордами. Воняло так, что глаза резало. Гниль. Моча. Кровь, уже высохшая и начавшая бродить.

— Лезь, — псарь ткнул пальцем в кучу. — Под накидку. Сверху закину мешок. Сиди. Не дыши лишним ртом.

Я полез. Тела были тяжелыми, холодными, жесткими. Лапы, остывшие, вцепились в борта. Я уперся ногами в дно, подтянул колени к груди, вжался спиной в изогнутые ребра огромного кобеля. Пахло смертью. Густо, непроходимо. Но под этой смертью — я.

Запах гнили и прелой крови ударил в желудок. Я не успел сжать зубы — рвота вырвалась наружу, обжигая горло и пачкая брезент. Хлеб и сыр остались лежать на полу, забытые в этой компании.

Сверху упал брезент. Тяжелый, промасленный. Свет исчез. Осталась только темнота да ровное, частое дыхание под боком.

Я ждал.

Телега тронулась. Ось заскрипела. Колеса застучали по булыжникам. Я покачивался вместе с телами, чувствуя, как их остывающая жесткость давит на плечи, на бок. Бинты впитывали чужую кровь и гнилую влагу. Я не шевелился.

Рядом, за бортом, семенящие шаги. Стон. Бежал. Не отставал.

Тряска сменилась ровным качением. Мостовая.

Телега замедлилась. Остановилась.

Голоса. Грубые, мужские. Звон кольчуги.

— Стой! Кто идет?

Псарь спрыгнул с козел. Сапоги шлепнули по камню.

— Псарь хозяина. Вывожу падаль.

— Приказ капитана. Никого не впускать, не выпускать. Три дня назад по Верхнему смерти ходила. Пока не разберемся — ворота на засове.

Я замер. Дышал через рот. Мелко. Часто. Под брезентом стало душно. Вонь вбивалась в ноздри. Я сжал рукоять кинжала, торчащего из сапога. Металл был родным. Успокаивал.

— Все в порядке, — псарь не спешил. Голос ровный. — У меня грамота. От хозяина. Тела нужно вывезти. Иначе здоровые собаки подхватят чуму. Подохнут все. Эти болели. Подошли. Нужно закопать.

Шуршание бумаги. Долгая пауза. Я слышал, как стражник шевелит губами, читая по складам.

— А этот? — голос стал ближе. — Кто рядом с телегой? Пес.

Я услышал частое дыхание Стона. Он не отставал от борта, трусил рядом, и теперь замер, оказавшись в свете факела.

— Этот прибился, — псарь ответил без паузы, но в голосе мелькнула едва заметная натуга. — К одной суке. Бежит, тупой выродок. Подыхать с ней. Пусть бежит. В городе выдохнется, отстанет.

Тишина. Звякнуло железо. Тяжелые шаги приблизились к телеге.

— А что у тебя там, под брезентом? — спросил стражник. Голос был уже не скучающим. Подозрительным. — Чего они у тебя такие тяжелые? Может, не только псы?

Дыхание перехватило. Мышцы живота свело судорогой, бок пронзило болью. В глазах потемнело.

Сквозь щель между досками я увидел, как тусклый свет фонаря метнулся ближе. Услышал шорох — стражник взялся за край брезента.

Стон зарычал.

Не залаял. Пытался меня защитить.

— А ну цыц! — рявкнул стражник.

Рычание стало громче. Когти заскребли по булычнику — Стон уперся лапами, готовый броситься.

— Убери псину, — процедил стражник, — или я ее на копьё...

— Не трожь, — голос пса внезапно стал жестким. — Бешеные они. Все бешеные. Потому и подошли. Укусит — и тебя в ту же телегу. Хочешь?

Пауза. Долгая, вязкая, как смола.

А потом в брезент ударило копьё.

Наконечник вошел наискось, с влажным хрустом пробив грудь мертвого кобеля надо мной. Я почувствовал толчок. Холодная сталь остановилась в пальце от моей головы. С острого острия сорвалась капля собачьей крови и упала мне на щеку. Медленно поползла вниз, к шраму. Я не шевелился. Не дышал. Даже сердце, кажется, остановилось, чтобы не выдать меня стуком.

Стражник уперся ногой в повозку и выдернул копьё обратно.

— И правда, падаль, — буркнул он. — Воняет — мочи нет. Открывай ворота!

Засов лязгнул. Телега тронулась.

Я выдохнул. Воздух вышел рваным, с присвистом. Капля чужой крови на моей щеке уже стекла. Рядом, за бортом, снова застучали когти Стона по мостовой. Уверенно. Он не отставал.

Я закрыл глаза. В темноте под брезентом, среди мертвых собак, я ощущал себя раненым псом в этой братской могиле.

Мы ехали. Склеп ждал впереди. Клетка. Или убежище. Скоро узнаю.

Глава 16. Швы

Телега подпрыгнула на выбоине, и мертвые собаки в кузове отозвались глухим чмяканьем. В глазах метнулись молнии, сегодня их был уже перебор.

Паркин сейчас казался вымершим. Только плотный, серый туман, полз по грязным дорогам, проглатывая колеса. Я смотрел из-под брезента на затылок возницы и думал о том, что он везет смерть.

Повозка, наконец, остановилась. Неуклюже откинул брезент и приподнялся. Внутреннее напряжение отступило. Убежище. Дом.

Варлам ждал у входа в склеп. Под козырьком каменного свода, где ветер не задувал кладбищенскую пыль и мелкую морось. Он стоял, ссутулив плечи, как столетний старик. Трещина в монолите.

Тело превратилось в неповоротливый кусок сырого мяса. Но из телеги я выбрался сам. Отказался от его руки, когда он шагнул вперед, чтобы помочь. Упрямство осталось единственным, что держало меня на ногах. Бок горел. Каждое движение отдавало в позвоночник, в зубы. Радовало лишь одно: поездка закончилась, и в глазах, наконец, перестали плясать искры. Я сполз с кузова сам, цепляясь за борт, чувствуя, как спасительная кровь с мертвых собак засохла коркой на штанах и рубахе.

Варлам бросился на встречу, остановился и смотрел на меня, молча. Долго. С ног до головы и обратно. Глаза улавливали каждую деталь: грязь на лице, пропитанные темной сукровицей бинты, чужую рубаху, которую мне дал псарь. А потом он сделал шаг и обнял меня.

Я замер. Руки у него были, конечно, мощные, и они сжимали мои плечи с силой, которой я от него не ожидал. Кости хрустнули. Бок взвыл. Я не отстранился. Не смог бы даже если захотел. Он прижал меня к себе, и я снова почувствовал этот родной, домашний запах.

— Граб, мальчик мой, — голос его дрожал. Впервые и, возможно, единственный раз в жизни я слышал это в его голосе. По-настоящему. — Как ты меня напугал. Хвала всем смертям, что ты здесь. С нами.

Я не знал, что ответить. Все мои последние возвращения до этого были будничными: «Сделано», — говорил я, и он кивал. Сейчас между нами было что-то — слишком близко.

Он отпустил меня и отступил на шаг. Махнул псарю, и телега, скрипя колесами, тронулась в темноту. Стон сидел у моей ноги, мокрый от мороси, и провожал ее взглядом. Хвост дернулся раз, другой, но он не побежал следом. Остался. Тут, со мной.

Варлам посмотрел на него. Потом медленно присел и погладил пса по голове. Стон не зарычал. Дал себя коснуться.

— Спасибо, малыш, — сказал он тихо. — Смерть оставила тебя не просто так. Если бы не ты... — Он не договорил.

Поднялся. Лицо его снова стало прежним: собранным, и внимательным.

— Я знаю, что не время. Не буду торопить. Сначала ты должен привести себя в порядок. — Он указал на мой бок, на бинты, насквозь пропитанные гнилью и собачьей кровью. — А потом я лично осмотрю рану. Нам нужно о многом поговорить.

Я кивнул. Говорить не хотелось. Во рту все еще стоял вкус желчи и тухлятины с телеги.

— Ты голоден?

— Нет, — выдавил я. — После такого путешествия... — Я мотнул головой в сторону, где скрылась повозка. — Я не скоро проголодаюсь.

— Тогда приводи себя в порядок. Зара принесет чистые вещи. И сразу ступай ко мне.

Я вошел в склеп. Стон прошмыгнул следом, когти застучали по камню увереннее, чем мои сапоги. Я опирался на стену. Каждый шаг отдавался в ране — не острой болью уже, а

тупым, глубинным нытьем. Будто под повязкой сидел зверь и пробовал когти на прочность, медленно проводя каждым по отдельности.

Мы направились напрямиком в купальню. Она приняла нас тишиной, спокойствием и чистотой, которой так не хватает в Паркине. Каменный пол, деревянная бадья с водой, от которой поднимался пар — значит, принесли недавно. На лавке — стопка чистых вещей, серая рубаха, штаны, сухие портянки. Зара знала. В этом склепе все всегда знали раньше меня.

Я не стал зажигать лишних свечей, достаточно было пары огарков. Раздеваться было пыткой. Рубашка присохла к ране, став частью меня. Осторожно дернул, не отходит, потом, теряя терпение, резко. Ткань отделилась с мясистым звуком, вырывая кусочки подсохшей корки. Я замер, привалившись лбом к холодной стене, и ждал, пока перед глазами перестанут плавать красные пятна, повеяло не только старой кровью, но и той, что натекла с мертвых собак. Запах стоял мерзкий, Стон чихнул и отступил на шаг.

Вода поначалу показалась кипятком. Я опускался медленно, слушая, как стучит собственное сердце. Когда уровень дошел до разреза, в голове что-то треснуло. А потом, приятное ощущение того, как Паркин вымывается из меня, компания дохлых псов, чужая кровь, пыль склепа. Вода темнела постепенно, превращаясь в бурю жижу.

Начал тереть кожу мочалом, до красноты, хотел содрать не только грязь, саму память о последних часах.

Шрам на горле горел. Я опустил голову, глянул в мутное отражение на поверхности воды. Оттуда на меня смотрел кто-то с черными кругами вместо глаз, с заострившимися скулами, с потрескавшимися губами. Не лицо, а череп, обтянутый кожей. Усмехнулся. Отражение усмехнулось в ответ. Шрам растянулся, обнажая розовое нутро старой раны. Улыбка смерти. Моя улыбка.

Стон, стоя на задних лапах, уперся в край бадьи и, высунув язык, смотрел мне в глаза. Все стало понятно без слов.

— Давай-ка и тебя намоем, — сказал я ему.

Он не сопротивлялся. Стоял смирно, пока я поливал его горячеватой водой из ковша, тер ему спину, бока, лапы. Собачья шерсть напиталась запахом смерти не меньше моей одежды, но пес терпел. Только вздрагивал, когда вода попадала на больное ухо, и косился на меня одним глазом. Когда я закончил, он встряхнулся всем телом — брызги полетели на стены, на лавку, на меня — и замер, ожидая, что я скажу.

— Все, чистый, — сказал я. — Ну, во всяком случае, чище подворотен Паркина.

Он довольно вилял хвостом, а задняя часть виляла так, что он чуть не заваливался на бок. Я медленно оделся, чистые вещи, это было приятно после всего.

Коридор был пустым и спокойным. Я шел по нему и думал, что Варлам сказал: разговор подождет. Но разговор уже начался — там, на телеге, в «Берлоге», под мостом, в темном переулке. Сейчас я стою перед дверью кабинета Варлама. В своих вещах. Нож в голенище. Кинжал за поясом — спокойный и молчаливый. В кармане — две пуговицы с волчьей пастью. Еще не стая. Но уже не одиночка. Постучал. Вошел.

В нос вонзился запах травяной припарки — резкий, медицинский, смешанный с чем-то горьким и спиртовым. На столе, где всегда громоздились книги, теперь лежали инструменты. Анатомические щипцы, иглы, моток нити, чистые бинты. В углу на треноге булькала какая-то темная жижа, источая едкий пар. Варлам стоял ко мне спиной и протирал щипцы раствором из медной чаши.

— А, вот и ты.

Я открыл рот, но он не дал сказать ни слова.

— Все потом. Снимай рубаху и ложись на стол. — Он кивнул на столешницу, освобожденную от книг. — Но сначала выпей.

Он протянул мне чашку. Внутри плескалась мутная, зеленовато-бурая жидкость. Пахло плесенью и чем-то химическим.

— Что это?

— Обезболит. И проведет внутреннюю дезинфекцию. На вкус не очень, предупреждаю. Я взял чашку. Посмотрел на жижу, потом на Варлама.

— Не думаю, что это хуже собачьей гнили.

Он ничего не ответил, но в уголках его губ мне почудилась тень одобрения. Я выпил. Жижа была горькой, маслянистой, она обожгла язык и сразу сделала его чужим, онемевшим. Глотка сжалась, отказываясь принимать, но я заставил себя. Тепло растеклось по животу, поднялось к груди, ударило в голову. Стены качнулись.

— Ложись, — сказал Варлам.

Я лег. Камень охлаждал спину, но этот холод не проникал внутрь — он тонул в жаре, что бушевала под повязкой. Зелье расползлось по венам, тянуло вниз, делая ноги не послушными, а мысли — далекими. Трещины на потолке поплыли, расплылись, собрались в новые узоры.

Варлам стоял надо мной. Я видел его руки — они двигались быстро, без суеты. Звякнул металл. Шуршание ткани. Он срезал старые бинты, и я почувствовал, как воздух коснулся раны. Холодно. Потом — укол.

Боли уже не было, только ощущение вторжения. Игла прошла сквозь край раны, и я дернулся. Воздух вырвался из груди хрипом.

— Лежи. — Голос Варлама прозвучал, будто из-под воды. — И не дергайся.

Еще укол. Нить тянула края, стягивала их. Я чувствовал каждое движение, но боли не было — только отголосок, далекий звон за толстым стеклом. Сознание ныряло в темноту, выплывало обратно. Обрывки: запах трав, блеск щипцов, тусклый свет лампы на стене, ловкие пальцы, перебирающие инструменты.

— Надо же... — Голос Варлама вдруг стал ближе, четче. В нем звенело почти детское изумление. — Удивительно.

Я хотел повернуть голову — не вышло. Шея не слушалась.

— У тебя пробита левая доля, Граб. Под ребром. Нож прошел насквозь, задел селезенку, возможно — часть кишки. — Он говорил медленно, будто сам не верил тому, что видит. — Ты должен был истечь кровью. Или сгнить изнутри еще к утру. С такой раной не живут.

Пауза. Звякнула игла, отложенная на металлический поднос.

— А внутри уже все срослось.

Я услышал, как он выдохнул — длинно, взволнованно.

— Плоть затянута сама. Я вижу края. Они гладкие. Ровные. Как будто ране десять дней, а не несколько часов. Кровь не свернулась — спеклась. Ткань не гниет, а тянется обратно на свое место.

Он помолчал. Я слышал, как он вытирает руки тканью. Шуршание бинтов.

— Я просто зашиваю кожу, мальчик мой. Просто стягиваю то, что и так стянется. Понимаешь?

Я не понимал. Зелье дурманило сознание в серую муть, сопротивляться ей было бесполезно.

— Хвала смертям, — прошептал он. Уже почти себе. — Ты выжил. Ты не мог выжить, но ты выжил. Снова. У смерти свои высокие цели.

Нить шелкнула в последний раз. Он наложил чистый бинт, прижал ладонью. Тепло его руки прошло сквозь ткань, сквозь кожу, куда-то глубже. Он стоял так несколько минут. Молча. Держа руку на моем боку, будто проверял — не исчезну ли я, не растворюсь ли, как морок.

— Теперь отдыхай, — сказал он, наконец. — Разговор подождет. Рана заживет, но как ты? Посмотрим.

Он убрал руку. Шаги стихли. Хлопнула дверь.

Я остался один на холодном столе. В голове гудело, веки опускались. Я закрыл глаза. Темнота сомкнулась без борьбы, без снов, без чужих голосов. Одна тишина. И где-то далеко, за ее плотной завесой — ровное, уверенное дыхание Стона, который сидел на полу у стола и ждал, когда я проснусь.

Глава 17. Четыре глаза

Он шел по Паркину.

Не я. Смерть. Та самая — с пустыми глазницами и руками, которые знают только одно движение. Которой нужно забрать свое, по неписанному праву.

Переулок за переулком. Я узнавал каждый камень, каждую трещину в стене, каждый запах — мерзкие крысы, сладкая гниль, проливной дождь. Паркин ночью был моим городом, я знал его как рубец на собственном горле. Но сейчас он лежал передо мной длиннее, чем должен был. Растянутый, как кишка, из которой выдавили все живое.

Переулок уходил вперед.

Там, в конце, стояла фигура.

Черная. Плотная. Не человек и не тень — что-то между. Стояла и не шевелилась, только на безымянном пальце блестел перстень, маленький и яркий, как блик кинжала на солнце. Он горел там, где все остальное тонуло в темноте.

— Стой! — крикнул я.

Голос ударился в стены и вернулся ко мне раздробленным на куски. Эхо шло из каждой щели, сверху и снизу, будто переулок был живым и насмеялся. Фигура не обернулась. Она тронулась с места — плавно, бесшумно. И переулок потянулся за ней, разматываясь, как бесконечный моток ниток. Я шел. Я почти бежал, но расстояние не сокращалось — оно росло. Фигура отступала в темноту, и только перстень светился, как маяк, которому нельзя верить.

Резкий стук.

Шаги сзади.

Я обернулся.

Она стояла прямо передо мной. Без лица. Просто темная плоть, собранная в форму человека. Близко — рукой достать. Я не успел даже шагнуть назад — кинжал вошел в бок. Молниеносно, резко, глубоко, и растворился там. Фигура исчезла. Я согнулся, схватившись за рану, ждал боли, крови — ничего. Под пальцами медленно, как отлив, уходило тепло. А потом кожа стянулась сама. Я почувствовал это изнутри: тихое движение, едва слышный треск — и все.

Выпрямился.

Фигура снова была вдали. Перстень горел.

Я побежал.

Переулок мчался вперед быстрее моих ног, брусчатка уходила из-под сапог, я изо всех сил старался ее нагнать, но бежал и не двигался — только переулок скользил под ногами, как ковер, который тащат из-под тебя. А потом все резко остановилось.

Перекресток.

Я вышел на него и замер.

Слева из темноты появилась девушка.

Она шла медленно, в руках — плетеная корзина с бельем. Я знал ее. Видел ее раньше. Не здесь, не на этом перекрестке — там, в переулке, у стены, где ее голова лежала неправильно и в застывших глазах было удивление. Теперь она шла ровно, без спотыкания, только лицо — лицо было не ее. Порезы шли поперек щек и лба, кривые, частые. Губы разбиты. Из темени стекало что-то темное, медленно, как деготь.

Справа появился мужчина.

Кожевенная куртка. Тяжелые сапоги. Его я тоже знал. Он смотрел на меня как на должника — он хотел то, что вернуть я уже не смогу. На его лице — то же самое, что на лице девушки. Порезы. Темные потеки. Рот открыт, зубы красные.

Они остановились одновременно. Смотрели.

Девушка опустила руку в корзину и вытащила нож. Корзина упала. Белье рассыпалось по булыжникам — чистое, белое, а потом стало темнеть прямо у меня на глазах.

Мужчина потянулся за пазуху.

Они бросились разом.

Я проснулся.

Рывок был такой, что я ударился затылком о стену — жесткий камень, реальный, настоящий. Комната была своей. Темной, знакомой, с запахом сырой земли и старых мертвецов. Я сидел на постели, руки зажаты между коленями, и смотрел на свое тело, ощупывал его взглядом, не веря. Рубаха сухая. Ни крови, ни прорехи. Я медленно поднял подол, нашел пальцами бок.

Там был шрам.

Маленький. Совсем молодой — кожа розовая, нежная, как у новорожденного. Боли не было. Совсем. Я надавил — ничего, только тепло под пальцами и тупое эхо где-то в глубине, слабее, чем от синяка. Я провел ногтем по краю — ровный, гладкий. Варлам говорил, что зашил. Говорил, что ткань сходилась сама. Смотрел на это своими старыми ненасытными глазами и молчал — только выдыхал длинно и взволнованно.

Шов затянулся.

Я сидел и держал руку у бока, как будто боялся, что если уберу — он исчезнет, растворится, окажется еще одним переулком, который тянется бесконечно.

В углу возился Стон.

Он сидел у лотка, наклонив голову набок, и смотрел на меня. В полумраке его глаза светились — желтые, спокойные. Преданные. Просто смотрел. Ждал.

— Стон, — позвал я.

Он поднялся. Подошел. Не суетясь.

— Я такое видел, — сказал я. — Такое...

Он ткнулся мокрым носом в мой бок, прямо в шрам. Начал облизывать. Медленно, методично, как будто что-то вымывал.

— Стон. — Я легонько отодвинул его. — Рана затянулась. Сама. Это как вообще? Я что, месяц тут провалялся?

Он снова потянулся к боку. Я убрал его голову, встал. Голова не кружилась — и это само по себе было странно. Я оделся, сунул ногу в сапог, руку в карман, нащупал. Там.

Обе пуговицы.

Мелкие, с гравировкой — волчья пасть. Я вынул их, положил на ладонь. Они лежали спокойно. Металл не грел, не охлаждал. Просто металл. Но я знал, что за ними стоит, и от этого знания внутри сжималось. Тайна. Похожая на нетерпение зверя, который учуял след. Голод, который нужно утолить.

— Подожди тут, малыш, — сказал я Стону.

Он сел. Уши прижал.

— Мне нужно к Варламу. Надеюсь, он у себя.

Я постучал и вошел, не дожидаясь ответа.

Варлам что-то писал. Склонился над столом, перо ходило ровно и уверенно, он даже не поднял голову, когда я вошел. Я подошел к столу, молча взял его руку за запястье — мягко, но он остановился — и положил обе пуговицы на чистый лист прямо перед пером.

Перо опустилось.

Он смотрел на них. Долго. Четыре глаза смотрели на него — волчьи, глубокие, выгравированные в металле.

— Граб, — сказал он. — Откуда у тебя это?

— Нам пора поговорить, — ответил я.

Он откинулся на спинку кресла. Голову запрокинул, закрыл глаза. Просидел так несколько секунд — думал или молился, я никогда не мог разобрать. Потом сказал:

— Закрой дверь и присаживайся, мальчик мой. Разговор будет долгим.

Я закрыл дверь плотно. Сел на кресло напротив. Стол между нами, пуговицы на листе — как пешки на доске. Варлам поднялся, открыл дверцу шкафа, поставил на стол бутылку и два старых бокала. Налил. Передал один мне, проведя по столешнице со скрипом.

Сел.

Сделал мелкий глоток. Поставил свой бокал. Посмотрел на меня, на тело.

— Как твоя рана?

— Ее нет. — Я коснулся бока через рубаху. — Остался шрам. — Потом поднял руку к шее. — Такой же. Только короткий.

Глаза Варлама загорелись. Не метафора — в них что-то зажглось, что-то живое и жадное, то, что он всегда прятал за спокойствием и медленными словами. Сейчас оно вырвалось на поверхность и не спряталось обратно.

— Я видел, как твои органы срастались, Граб, — произнес он тихо, почти шепотом. — Я накладывал швы, но кожа сходилась сама. Ткань тянулась обратно, будто помнила, где должна быть. Ты даже не кровоточил так, как должен был. С такой раной не живут. — Он замолчал на секунду, и в этой секунде умещалось что-то огромное. — Но ты живешь. Потому что ты — ее лик, Граб. Ты сама смерть. И она не в силах тебя забрать — ты и есть она, ты ее воплощение.

Он выпрямился. Голос стал другим — не разговорным, торжественным:

— «То, что умерло, восстанет в мире грешном, настанет день, когда земля окропится кровью, и страдать будет каждый, и воздастся ему за грехи нечистые и деяния еще не совершенные, нет чистых и безгрешных в мире тленном. Пусть будет суд ее жесток, а приговор — достойным смерти».

Он умолк.

Я смотрел на него. В эту минуту в нем было что-то, чего я раньше не видел так явно — ликование. Не снаружи, внутри. Оно распирало его изнутри, тихо и неудержимо, как огонь, охвативший целый город. Я почти ждал, что он не выдержит — что сейчас что-то треснет в нем, и свет оттуда ослепит меня.

— Так звучат строки из священного писания Лика, — сказал он. — Так предсказывал Заладион, познавший смерть. И так есть, Граб. Это ты. Это факт, который нельзя отрицать.

Я поднял бокал. Сделал глоток. Жидкость была горькой, резиновой на вкус. Я сморщился.

— Ты знаешь, кто они? — спросил Варлам и кивнул на пуговицы.

— Одна попала ко мне случайно. — Я поставил бокал. — В том особняке. Зацепил, когда тот господин полетел. — Пауза. Я смотрел ему в глаза. — А вторая — это Миранда. Ты знаешь, что он с ней сделал?

— Да, Граб. Мне рассказали. Бедная...

— Он ее распял. — Я не дал ему договорить. — Прибил гвоздями к стене вниз головой. — И выпалил это — не с чувством, просто как факт, как раньше Варлам говорил: «ты убил человека». — А знаешь, что было потом? Она была еще жива, Варлам. И знаешь, кто ее убил?

Я замолчал.

— Ее убил я.

Тишина. Варлам смотрел на меня, не шевелясь.

— А потом...

Я замолчал снова. Все это встало в горле — вся кровь, вся грязь, что сидела где-то внутри уже столько времени. Она жгла. Не снаружи — изнутри, там, где я прятал то, что происходит со мной в момент чужой смерти. Там, где живет чужая похоть и чужой страх и чужое последнее удивление. Туда не добраться ни водой, ни горьким отваром.

— Граб. — Варлам говорил ровно. — Что потом?

Я поднял взгляд.

— Ты проявил милосердие. Пусть и такой ценой — но это все, что ты мог для нее сделать в тот момент. Больше ничего. — Он помолчал. — По Паркину плывет туман страха. Люди говорят, что видели на улицах жнеца. Смерть с пустыми глазницами брела по городу и оставляла за собой реку крови.

Его глаза смотрели на меня.

— И я знаю, о ком они говорят, Граб.

— Это был не я. — Я облокотился о подлокотник. — Ну, то есть я. Но не совсем.

Брови Варлама медленно поднялись. Он не произнес вопрос вслух, но вопрос был.

— Я говорил, в прошлый раз, — начал я. — Что меняюсь. Что выпитываю что-то, когда забираю жизнь. Вливается вся грязь, все чувства, весь этот груз. И в тот момент, когда я... — Миранда. Ее имя встало поперек горла. — Это все вырвалось наружу. С цепи сорвалась стая. Я не контролировал ситуацию.

Я поднял со стола пуговицу. Держал между пальцами.

— Я шел за ним. Чутье вело. Я нашел его — и он меня ранил. Потом я его. Потом Стон, и они ушли.

— Да. — Варлам кивнул медленно. — В тот день Стон выл на весь склеп как волк. Я думал, он поднимет мертвых. — Маленькая пауза. — Мне сообщили о жнеце, который двигается в сторону Верхнего города. А там мне было тяжелее тебя отыскать, тем более после происшествия с бедной девочкой. Я не знал, какую игру они затеяли. Я отпустил его — знал, что он найдет. А за ним отправил Мики. Псаря. Вы уже знакомы.

— Надежный человек, — сказал я. Не саркастически. Он действительно был надежным, пах псиной, говорил с присвистом и провез меня через ворота среди дохлых собак. Есть разные способы быть надежным.

— Лина, — сказал я. — Ее не было в берлоге той ночью. Я уверен, что она жива. И она что-то знает о них. — Я положил пуговицу обратно. — Кто они, Варлам?

Он поднял бокал. Медленно отпил. Посмотрел на пуговицы. Потом на меня.

— Граб, я уже говорил: культ — это тень. Наша сила в том, что нас нет. — Он опустил бокал. — Эти люди хотят нас уничтожить. Они — остатки старой гвардии. Элиты, не согласной с нынешними порядками. Волки — политическая сеть. Аристократы, чиновники, купцы и им подобные. Они очень надежно ушли в подполье и хорошо скрываются. — Пальцы его постучали по столу. — Я давно веду против них борьбу, Граб. Но проблема в том, что я так и не вышел на зачинщика. Не знаю, кто стоит за ними. Не знаю головы этого зверя.

Я смотрел на него.

— Варлам. Я все равно не понимаю — при чем тут мы и политика? Склеп и аристократы. Это разные миры.

— Власть в этом городе принадлежит культу. — Он произнес это спокойно, но уверенность в его тоне была весомой. — Аркан — это мой старый приятель, если можно так сказать. Кампания по смене власти была организована нами. Он сидит на троне, потому что мы его туда посадили.

Я молчал. Дал этому осесть.

— А сейчас ее пытаются отнять. Вонзить в спину нож. — Он откинулся назад. — Эти слабаки лают как шакалы. У них нет сил противостоять смерти — понимаешь, Граб? Ты ее лик. И этим жестом в берлоге, этим посланием — они объявили самой смерти войну. — Улыбка расплзлась по его лицу медленно, неудержимо. Я никогда не видел его таким. — Глупцы. Они объявили охоту на смерть. А охота на смерть — это уже не охота. Это добровольный путь в другой мир.

Его улыбка не уходила. Она была слишком широкой, слишком живой для его обычного лица.

— Они объявили охоту на тебя, Граб.

Он поднял бокал. Я поднял свой. Мы выпили.

Горечь прокатилась по горлу.

Я опустил бокал и посмотрел на свои руки. Потом поднял взгляд.

— Варлам. На конце кладбища — детские могилы. Небольшие. — Пауза. — Где ребенок Марти?

Он засмеялся. Не зло — легко, почти добродушно, услышав простительное заблуждение.

— Детские могилы, Граб. — Он покачал головой. — Там лежат собаки с псарни. Как те, что сопровождали тебя в пути домой.

Я уставился на него.

— Собаки. На кладбище.

— Да, Граб. Собаки заслуживают лежать в земле больше, чем кто-либо в этом городе. — Он произнес это без иронии, с полной серьезностью. — А ребенок Марти умер при рождении. Так бывает. У смерти свои великие планы.

Я смотрел ему прямо в глаза. Теперь или никогда.

— Калисия. Кто это?

Что-то дрогнуло. Едва — почти незаметно. Не в лице, не в позе. Только в левом глазу. Крошечное движение, быстрое, как тень от взмаха.

Он сделал глоток.

— Калисия, — повторил он спокойно. — Это дочь Аркана.

Пазл. Вот оно. Кусочки, которые я собирал по переулкам и темным комнатам, легли на место. Не все — много щелей еще оставалось — но контур уже просматривался, и в этом контуре было что-то, от чего холодело не снаружи, а изнутри.

Я поднял руку, коснулся шрама на шее.

— Варлам. Я хочу найти того, кто это сделал.

Он смотрел в бокал. Постучал пальцами по столу. Один раз. Другой. Остановился. Медленно поднял взгляд на мою шею — на шрам, на эту улыбку, которая всегда смотрит в зеркало.

— Мы найдем его, мальчик мой, — произнес он. — Мы найдем их всех. — Взял бутылку. Наполнил оба бокала. — И его мы найдем.

Молчание.

Он смотрел на меня поверх своего бокала.

— Ты говоришь, что там, в берлоге, с тобой что-то произошло, — продолжил он. — Расскажи мне подробно, мальчик мой. Возможно, это и есть те утраченные сведения, которые я ищу долгие годы. Расскажи все.

Я сделал большой глоток. Поставил бокал. Подумал секунду.

И рассказал. Про холод кинжала, когда тот вошел в нее. Про тепло — странное, не от крови, другое, глубже. Про голоса — не слова, просто гул, как шум города за закрытым окном. Про след, который я чувствовал в темноте берлоги, чутьем, не глазами. Все.

Кроме одного.

Кроме того, что я вижу в момент угасания жизни.

Этого я не сказал. Не потому, что хотел скрыть — просто это было моим. Единственное, что принадлежало только мне. Мотивы, которые входят в меня вместе с последним выдохом чужой жизни — это правда, единственная настоящая правда, которую никто не может ни украсть, ни подделать, ни переписать. За нее я плачу кровавые монеты. Она живет внутри меня теперь. Это то, что осталось от всех, кого я забрал. Кожевник. Девушка с корзиной. Тот господин с блестящей пуговицей на манжете. Волк в берлоге. Каждый из них — кусок меня теперь. Я их несу.

Это. Мое.

Бутыль опустела незаметно. Варлам слушал так, как умеет только он — неподвижно, не перебивая, не отводя взгляда. Когда я говорил, у меня было ощущение, что он не просто слушал — он проникал. Что он там, в темноте берлоги, рядом, чувствует тот же холод и то же тепло. В глазах его горел ровный, тихий огонь.

Когда я закончил, в голове немного плыло. Мир слегка покачивался — не резко, просто стены жили своей жизнью. Варлам медленно поднялся. Облокотился о стол руками, наклонился чуть вперед. Голос его был ровным, но под ровностью что-то клокотало — сдержанное, как котел под крышкой.

— Значит так, мальчик мой. — Он смотрел прямо на меня. — Мы найдем их. Вместе. Они объявили нам войну, и мы начинаем охоту. — Пауза. — Ты начинаешь охоту. Пусть город захлебнется кровью, но мы узнаем, кто за этим стоит.

Он выпрямился.

— Что касается той девушки, Лины. Не обольщайся. Я подозреваю, что она с ними заодно. Возможно, именно по ее вине произошли последние события. — Он взял бокал, сделал последний глоток. — Если у тебя больше нет вопросов — нам нужно отдохнуть. Завтра мы начнем охоту на зверя.

Вопросы были.

Я не задал ни одного.

Встал. Голова плыла, ноги держали неуверенно. Я поднял взгляд на Варлама, на его лицо с этим неугасающим огнем в глазах, на его руки, которые зашивали меня той ночью и держали ладонь на ране как что-то ценное и дорогое. Он смотрел на меня с чувством, которое я знал всю жизнь, но никогда не мог назвать правильно. Не отцовским. Не дружеским. Чем-то, у чего нет слова — что-то между верой и владением.

Я кивнул. Вышел.

В коридоре было тихо. Факелы горели ровно. Сырой камень под пальцами был холодным и реальным.

Я шел к себе. Медленно, потому что бок напоминал о себе — тупо, без злобы, просто напоминал. Стон услышал шаги и встретил меня у порога, ткнулся мордой в ладонь. Я почесал его за ухом.

В голове крутилось.

Власть в этом городе принадлежит культуре. Аркан посажен на трон ими. Волки — это остатки тех, кого выдавили. Они хотят взять обратно. И чтобы сделать это — им нужно убрать нас. Убрать меня. Начали с послания: Миранда на стене, гвозди, зашитый рот. Потом взяли напрямую — волк в берлоге и кинжал в бок.

А Варлам не знает, кто стоит во главе. Не знает зачинщика.

Значит, это знаю не я один.

Значит, в этой охоте мы оба слепые. Разница только в том, что он ведет меня вперед уверенной рукой, а я не знаю, куда именно мы идем.

Лина. Жива или нет — другой вопрос. Но ее не было в берлоге. А это значит что-то. Варлам говорит: заодно с ними. Может. Но я видел ее лицо в той комнате. Страх на нем был настоящим — не отыгранным, не показным. Страх, который идет изнутри. Я знаю, как выглядит страх изнутри.

А Калисия — дочь Аркана.

Имя звенело в тишине. Треснувший колокол, который бьет не в такт.

Я лег. Закрыв глаза. Стон устроился рядом — моя тень, мой верный друг.

За стенами склепа продолжал дышать Паркин. Гудел. Жил своей гнилой, неостановимой жизнью.

Завтра начнется охота.

Я еще не знал, на кого именно. Но чутье, то самое, что вело меня по берлоге в темноте, уже шевелилось. Поднимало голову. Принюхивалось.

Зверь где-то там.

И у зверя есть имя.

Глава 18. Старый склад

Варлам нашел меня в коридоре у двери в свой кабинет. Я стоял, прижавшись плечом к холодному камню, и слушал, как где-то в глубине склепа сестры поют зауспокойную. Молитва просачивалась сквозь стены и камень, а склеп подпевал им мертвым холодом и безжизненным эхом.

— Ты рано поднялся, — сказал он из-за спины.

— Не спалось.

— Это хорошо, проходи. — Отворил дверь, пропуская меня вперед.

Он не стал ходить вокруг да около. Положил на стол передо мной лист бумаги и придавил его медной чернильницей. Никаких напутствий, никаких «будь осторожен» или «смерть не ошибается». Только факт, сухой и тяжелый, как надгробная плита.

— Крысятники засекли хвост. Кто-то дважды появлялся у границ склепа, смотрел, слушал, а потом растворялся в городе, оставляя после себя лишь смутное ощущение чужого взгляда на затылке.

— Старый склад у второго канала. Он сейчас там. — Варлам откинулся на спинку кресла. — Волки действуют. Значит, у нас мало времени.

Я стоял в кабинете, вдыхая знакомый запах пергамента, и знал лишь одно: охота начинается. Варлам давал мне возможность самому решить, что делать с этой информацией. Он не приказывал убить. Он просто сообщил, где искать тень. А тени в Паркине, как известно, исчезают при ярком свете — или при встрече с кем-то более темным.

— Волк будет не один, — добавил он, уже уткнувшись обратно в свои записи. — Охрану я беру на себя.

Это было все. Ни вопроса, готов ли я. Ни ответа: я готов.

Он и так все слишком хорошо знал.

Я вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. В коридоре уже было тихо, факелы потрескивали, развлекая себя пляшущими тенями. Прошел мимо своей комнаты. Дверь была закрыта, Стон там, внутри. Слышал его ровное дыхание сквозь дерево. Он знал, что я ухожу, и не скулил или царапался. Преданно ждал. Это доверие давило сильнее любого приказа.

Сегодня я хотел оставить его здесь. Боялся, что пес снова увидит во мне. После «Берлоги», после той ночи, когда чужие голоса рвали мое тело изнутри, он смотрел на меня по-другому. Он чувствовал грязь и осадок, который оставался после каждого труп. Я не хотел, чтобы он видел, как это снова поднимается со дна. Пусть лучше ждет в тепле, на моей кровати, чем бежит рядом с существом, которое само не знает, где заканчивается оно и начинается стая мертвецов.

Шел дальше. К выходу, к городу. К тому, что ждало меня в погоне за ответами.

Сегодня город был таким же, как и всегда, гнилым и шумным. Оставался равнодушным ко всему, что перемещалось по его венам. Но для меня он изменился. Раньше улицы были просто дорогой, пространством между точками. Теперь каждый переулок, каждый закоулок был полон смыслов, запахов, воспоминаний. Город стал картой моих грехов и чужих смертей. Я шел по Нижнему, стараясь не выделяться, сливаясь с толпой нищих, мастеровых и пьяниц. Капюшон наброшен, лицо скрыто тенью, руки спрятаны в складках плаща. Кинжал за поясом молчал, но металл был теплым, я это чувствовал. Он не предвкушал крови. Ее предвкушал я.

Второй канал заявил о себе вонью нечистот, которые стекали сюда с окрестных заведений. Здесь, на окраине, город казался брошенным, недоделанным. Дома стояли слепыми пятнами, окна местами заколочены или зияли черными дырами. Брусчатка сменилась утоптанной грязью. Не заметить склад было нельзя — огромное здание из черного дерева и ржавого

железа. Крыша местами провалилась, стены поросли мхом и склизкой плесенью. От него веяло забвением и давно протухшей рыбой.

Я остановился в тени соседнего дома, прислушиваясь и присматриваясь. Городской шум сюда почти не долетал, заменяясь ветхой тишиной. Но тишина была обманчивой. Внутри было то, ради чего я шел. Еще двое у входа, скрывались за штабелями старых досок.

Я не стал приближаться. Нужно ждать. Варлам сказал, что берет это на себя. И я верил ему, потому что знал, его крысятники не подведут. Они — тени под городом, его глаза и уши. В сознании с неба упало тело, так это было тогда, под мостом.

Время в ожидании медленно ползло, прошло около десяти минут, а может и меньше. А потом произошло то, что должно было произойти. То чего я ждал.

Охранники. Широкие, в черных плащах, с мечами на поясах. Я успел их рассмотреть мельком — и только потом краем глаза заметил движение на крыше. Два силуэта, быстрых и почти неразличимых на фоне темного неба. Крысятники шли сверху.

Все произошло быстро и тихо, почти без звука. Петли упали одновременно, накинутае точно, как на скотобойне, умело и без лишних движений. Охрана дернулась, схватились руками за горло — но петли уже тянули их вверх, к краю крыши, медленно и неотвратимо, как будто сама крыша их поглощала. К концу подъема они уже не дергались. Силуэты растворились, словно их и не было.

Я мысленно поблагодарил Варлама. Отметил внутри это тихое, безупречное исполнение. И двинулся вперед.

Внутри было темно, сквозь щели в крыше и стенах пробивался слабый, серый свет. Воздух был наполнен годовой пылью витающей в мире гнилых стен, а пахло еще хуже, чем снаружи. Многолетняя прель, которая въелась в дерево и уже никогда из него не выйдет. Ящики были везде: громоздились вдоль стен, стояли в несколько рядов посередине, некоторые рассыпались — из щелей торчали клочья соломы, почерневшей от сырости, остатки давно забытого товара, точнее того что от него осталось.

В дальнем конце склада из-за ящиков отражался слабый дрожащий огонек.

Я продвигался между ящиками осторожно. Не торопясь, давал глазам и ушам время. Нельзя спугнуть зверя. Слышал, как тихо скрипит прогнившая доска под сапогом. Слышал, как за стенами плещет вода в канале. И тихое царапанье пера по бумаге.

Остановился за последним рядом тары и смотрел.

Человек сидел за столом, собранным из двух ящиков и уложенных сверху досок, на котором горела единственная свеча. Пламя едва колебалось, освещая его лицо снизу вверх, вырисовывая из темноты резкие черты, глубокие тени под скулами, блеск глаз. Жилистый и невысокий, с крепкими руками, в простой одежде без украшений. Больше походил на наемника. Перстня с волком на пальце не блестело.

Перед ним лежал лист бумаги. Что на нем не видно, но видел, как не торопливо, с остановками, двигается перо. Человек думал на бумаге, что-то составлял, там было все его внимание.

Я начал обходить его по дуге, держась за спиной. Три шага. Четыре. Пять — и в этот момент нога задела пустую бутылку.

Она покатила по деревянному полу, и звук этот, в молчании склада, был как удар сотни ложек о металлическую посуду в столовом зале.

Человек за столом подскочил. Развернулся резко, одной рукой схватившись за рукоять меча, другой уперев в крышку стола — готовый вскочить. Глаза — живые, быстрые, прищуренные.

Я сидел за ящиком и не дышал.

Он смотрел на бутылку, которая докатилась до стены и остановилась. Потом медленно расслабил руку на шпаге и вытер проступивший пот со лба.

— Чертовы крысы, — произнес он себе под нос.

Он повернулся обратно. Взял перо.

Я немного выждал, перевел дух, перо снова зашуршало по бумаге, плечи человека ослабились и вернулись назад в прежнюю позу, мысли вернулись туда, откуда их неожиданно выдернули. И тогда я поднялся.

Три длинных, быстрых шага к цели.

Нож вышел из сапога в ту же секунду, когда я уже стоял за его спиной, удар был прямым и точным, металл прошел через плоть ладони, насквозь, уперся в дерево импровизированной столешницы.

Увидел то, что искал, сразу. На манжете, у самого края раны, блестели клыки.

— Ааа! — он дернул рукой, но нож держал намертво, и дергание только усилило боль — он сдавленно выругался. — Ты кто, мать твою?! Ты что творишь?! Дик! Джо!

— Никто не придет, — сказал я, не отпуская рукояти и обходя вокруг стола.

Он перевел взгляд с потекшей собственной крови по доскам на меня. И в этот момент его зрачки расширились.

— Ты? — произнес он.

— Знаешь, кто я?

Пауза была короткой. Потом стиснув зубы, он плюнул мне на рукав, и тем же тоном, которым до этого говорил о крысах:

— Да чтоб ты сдох. Чтоб вы все сдохли и сгнили, адские отродья.

— Зачем следил за склепом? Кто тебе приказал? — Начал я свой допрос.

И для убедительности, медленно повернул нож в ране. Самую малость, только чтобы почувствовал и понял, кто здесь добыча.

— Ммм! — он выдохнул через сжатые зубы. Кровь стекала по доске стола и капала на пол — тихо, ритмично, отсчет до неизбежности.

— Я выбирал, какую из красоток трахну первой, пока вы будете гореть в аду.

В другое время, и в устах другого человека — это прозвучало бы как, правда. Сейчас это прозвучало как то, чем оно и было, попыткой не дать боли выйти наружу, заткнуть ее чем-нибудь грубым и не сломаться. Я не ответил.

Обошел стол, медленно, встал за спиной. Достал из-за пояса «дар смерти», череп на навершии ликовал при свете свечи, который, лезвие жаждало поглотить. Запрокинул его голову, не встретив сопротивления, он уже понимал, сырая земля ближе, чем он того хотел. Приложил лезвие к горлу. Наклонился ближе.

— Я все равно узнаю правду, — шепотом сказал ему на ухо.

Пусть это будет последним, что он услышит, и оставит без ответа.

Кинжал прошел через горло. Свежая кровь брызнула на манжету. Я стоял над ним, сжимая рукоять, и ждал удара в виски. Ждал чужого страха, чужой ярости, чужого последнего вдоха, который разорвет изнутри.

Ничего не пришло.

Рука осталась моей. Пальцы на рукояти — мои. Дыхание не сбивается. Сердце бьется в привычном ритме. В голове тишина. Абсолютная, звенящая пустота, в которой не шевелилось ни одно воспоминание, ни одна эмоция.

Я смотрел на умирающего волка и видел только форму. Тело, которое покидает жизнь. Кровь, которая вытекает по законам тяжести. Мышцы лица, расслабляющиеся в агонии. Никакого отвращения или ликования. Злости, жалости, вообще никакого отклика. Его смерть не касалась меня. Она происходила рядом, как падение в пропасть.

Внутри него не было ничего. И оно вошло в меня.

Оно заполнило подреберное пространство. Не ознобом или грузом. Просто заняло место. Вытеснило все, что было моим: имя, память, тепло Стона, ненависть к волкам, даже вопрос

«кто я». Все исчезло. Осталось только тело, стоящее над трупом, и рука, сжимающая нагретый кинжал.

Я был инструментом. Без ручки. Без воли. Приказ приходил — мышцы сокращались. Следующий приказ — следующий импульс. Между ними не было паузы для мыслей. Не было пространства, где могло бы родиться что-то вроде «нет» или «зачем». Только сигнал приказа и выход действия.

Так он жил. Год за годом. Десятилетие за десятилетием. Просыпался, выполнял, засыпал. Еда была топливом а сон восстановлением. Люди вокруг были крысами. Убийства, работой. Ни гордости от выполненного. Ни отвращения к содеянному. Ни страха перед наказанием или надежды на прощение. Просто функция. Бесконечная, ровная линия существования без единого изгиба.

Эта линия тянулась сквозь меня. Я ощущал ее гладкость. Ее стерильную правильность. В ней не было трещин, куда могла бы просочиться личность. Не было изгибов, где запуталась бы совесть. Только прямой путь от приказа к исполнению, повторяющийся до бесконечности.

И вместе с этой пустотой пришел образ.

Впечатался в сознание, как клеймо на теле. Подвал. Низкий каменный потолок, покрытый копотью. Стол из грубых досок, на нем свеча в жестяном подсвечнике. Люди в темных плащах сидят вокруг, лица скрыты капюшонами, видны только подбородки и руки. Голоса перебивают друг друга, накладываясь слоями:

«раздавить, как крысу»

«сжечь, зло в человеческом облики»

«надежный план, нужен надежный план»

Слова не имели значения. Они были шумом. Помехами. Единственное, что осталось в памяти, — решетка на окне под самым потолком. Кованая, черная. Два прута отогнуты, один вверх, другой вниз. Кто-то начал ломать и не закончил. Или так нужно было. Знак. Метка.

Эта деталь, оказалась ценнее чьей-то жизни. Она и есть ответ. Точка на внутренней карте, которая теперь существовала во мне так же реально, как доски под ногами.

Мир вернулся.

Тишина внутри осталась. Но теперь, как и все остальное, она стала моей, без согласия на это. Я снова чувствовал вес собственного тела, тяжесть смерти в руках, запах крови и мерзостей. Снова знал свое имя. Знал, что Стон меня ждет. Что Варлам сидит в кабинете. А волк — носит перстень.

Но отпечатанная пустота никуда не девалась. Она была на дне. Кромешная. Ждущая своего часа.

Я вытер кинжал о плащ мертвеца — тщательно, от острия к нагретой рукояти. Может, дерево держало тепло дольше стали, а может, дело было в чем-то другом, о чем я не хотел сейчас думать.

Вытащил нож из доски. Рука на столе безвольно качнулась, кровь на дереве уже темнела и загустевала по краям лужи. Обтер лезвие об рукав, натянул пуговицу и аккуратно срезал. Повернул к свету свечи, пустые глаза смотрели в ответ. Положил в карман. Скоро там будет стая.

Столкнул ногой безжизненное тело на пол и сел на его место.

Взгляд упал на лист бумаги. Я взял свечу, поднес ближе. Схема. Нарисована уверенной аккуратной рукой: прямоугольник склепа, пунктир кладбищенских дорожек, отметки у ворот, стрелки путей отступления, цифры — расстояния или время. Подготовка к нападению. Детальная, терпеливая.

Я свернул лист, убрал за пазуху. Выдохнул. Склад молчал. Только вода за стеной, гнилой запах и свеча, которую я не стал тушить. Пусть догорит сама.

В склепе Варлам сидел на том же месте, где я его оставил. Будто и не двигался. Я подошел, встал перед столом.

— Удалось узнать что-нибудь важное? — Без прелюдий начал он.

— Волк был не шибко разговорчив, — ответил я. — Но, кое-что мне удалось разузнать. Есть одно место, там был отдан приказ к действию. Нужно найти подвал с решеткой на окне.

— Подвал? — Он наклонился ко мне.

— На ней будут отогнуты два прута — один вверх, другой вниз.

— Уже лучше! — губы расплывались в скупой улыбке, а золотые глаза сужались. — Это уже что-то.

Я достал из-за пазухи свернутый лист. Он развернул его, поднес к лампе. И долго смотрел на него — дольше, чем требовалось, чтобы просто рассмотреть. Потом поднес к носу и понюхал бумагу.

— Очень хорошо, мой мальчик, — сказал, наконец, тихо и без интонации. — Очень. Значит, решетка.

Я не стал спрашивать, что именно «очень хорошо» — карта или то, что запах бумаги ему что-то сказал. Варлам не объяснял, если не хотел.

Стон ждал у двери.

Когда я вошел и присел, он поднялся и сразу опустил нос к моим рукам. Нюхал и утыкался в них мокрым носом. Начал чесать его за ухом, и он отошел. Лег и чуть-чуть отвернулся.

Я смотрел на него и понимал: он чувствует, что я снова в себе что-то принес. Не кровь, ее он знал и не боялся. Пустоту, которая еще не выветрилась, и вообще неизвестно, случится ли это. Стон был умным по-своему, глубже, без слов. Он не знал, что случилось на складе, но чувствовал, что его хозяин вернулся не тем, кем был утром. И показал это.

Я лег на кровать не раздеваясь. Смотря в низкий каменный потолок.

В голове стояла пугающая пустота Волка.

Мысль колупала изнутри. Человек прожил жизнь, выполняя чужие приказы, и внутри не осталось ничего своего. Он никто. Ни гордости, ни сожаления, ни эмоций в моменте выполнения приказа. Был как меч в ножнах: снаружи форма есть, а внутри, только холодный металл для хозяина.

А у меня? Вопрос возник сам собой. Есть ли у меня что-то внутри, кроме этой охоты? Кроме перстня, которого я еще не нашел? Кроме имен, которые нужно вычеркнуть из невидимого списка?

Я подумал о тайне, что живет на моем горле, о вопросе «кто», а главное «за что?» Это было моим. Значит, что-то есть. Значит, я не такой, как тот, кто лежит перед столом из ящиков и кормит собой крыс.

Но вопрос не уходил. Потому что интерес — еще не ответ. Интерес — огонь, который горит, пока есть что жечь. А что будет, когда все сгорит?

Стон лежал и смотрел на меня. Глаза в темноте — две тускло светящиеся точки.

— Спокойной ночи Стон.

Я не ответил на свой вопрос. Просто закрыл глаза.

Потолок я все равно продолжал видеть.

Глава 19. Молчание

Паркин утром был обманчив. Солнце, пробивавшееся сквозь вечную пелену смога, не грело — оно лишь подсвечивало грязь, которую ночь прятала в тенях. Свет падал на бульжники, пыльными лучами, город казался не живым организмом, а огромной, заброшенной мельницей, механизмы которой давно заржавели, но она продолжала перемалывать все, что в нее попадало.

Проходя мимо нескольких переулков, Стон разгонял крыс, обнажая въевшиеся пятна крови, оставленные этой ночью при свете луны. Тел уже не было. Только память улиц.

Этой ночью, я снова слышал далекий крик под полом, Стон тоже, он запрыгнул на кровать и лег, прижавшись ко мне.

Мы шли по Нижнему городу. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Шаги были размеренными и спокойными, у нас есть дело, но нет срока. Стон бежал рядом. Он давно не хромал так явно, как в первые дни, но старая травма иногда напоминала о себе: на неровных камнях он чуть берег заднюю лапу, перенося вес на здоровые. Сегодня я взял его с собой, стены в склепе давили слишком сильно, а ночной крик звенел в ушах.

Стон чувствовал мое состояние. И за это, я был ему благодарен. Он просто был рядом — верным, живым пятном в сером море Паркина. Иногда он останавливался, принимался к чему-то невидимому мне, поворачивал голову и смотрел на меня снизу вверх. Проверил? Ты здесь? Ты настоящий? Я просто встречался с ним взглядом, он удовлетворенно, вытаскивал язык на бок и трусил дальше. Его присутствие удерживало меня от того, чтобы снова провалиться в ту стерильную, холодную пустоту, которую я вынес со склада.

Я искал решетку.

То, что я принял вместе со смертью волка, было четким, как линии на чертеже архитектора: подвал, низкий потолок, копоть. Окно под самым сводом. Кованая решетка. Путь — один вверх, другой вниз. Цель. Место, где отдавались приказы, где шум голосов превращался в тихий шелест пера по бумаге, а затем — в смерть.

Паркин огромен. В нем тысячи подвалов, десятки тысяч окон, миллионы решеток. Но я знал этот город не как карту улиц и площадей, а как собственный шрам. Я знал его болевые точки, его скрытые карманы, его забытые артерии. Я шел не глазами, а памятью тела. Памятью тех ночей, когда сбегал из склепа подростком, проникая в трещины города, которые не посещали даже стражники.

Мы обошли квартал кожевников, спустились к старым мельницам, проверили подвалы заброшенных бань у Первого канала. Ничего. Решетки были целыми, ржавыми, заросшими мхом или паутиной. Ни одна не несла на себе той особой, намеренной деформации, которую оставила рука человека.

Ближе к полудню мы свернули в переулок, который вел к докам. Здесь воздух был омерзительным, насыщенным запахами тухлой рыбы и потрохов с примесью дешевого табака. Стон чихнул, потряс головой, но не остановился.

За очередным поворотом я увидел их.

Двое стражников стояли в узком проезде между двумя покосившимися домами. Они не патрулировали. Не охраняли. Они работали.

На земле лежал человек. Крысятник — это было видно сразу по одежде, по грязи, въевшейся в кожу навсегда, по стоптанной обуви. Он уже не двигался. Тело было неподвижным, руки переломаны и скрючены, голова безвольно болталась по грязной земле. Но стражники продолжали.

Они тыкали в него копьями. Ритмично. Молча. С невозмутимыми лицами, мясники кромсают тушу, повариха отбивает мясо. Рутинка. Проверка. Убедиться, что мясо больше не

дернется. Что работа выполнена до конца. Один из них, постарше, с лицом, покрытым оспинами, вытащил копьё из грудной клетки мертвеца с влажным чмоканьем, осмотрел наконецник и воткнул снова — теперь уже в живот. Второй, молодой, просто стоял и ждал, опираясь на древко, глядя в стену над телом. Работа выполнялась сверхурочно.

Это была зачистка. «Волки» убивали врагов. Или Варлам подчищал то, что могло привести ко мне. А может Аркан устранял тех, кто знал слишком много о двойной игре. Причины не имели значения. Имел значение сам факт: смерть в Паркине стала бюрократической процедурой. Она больше не была таинством, ритуалом или даже преступлением. Она стала хозяйственной необходимостью.

Стон замер.

Шерсть на загривке встала дыбом. Он издал звук, который был хуже любого лая. Короткий, сдавленный, вырвавшийся из самой глубины глотки. Звук зверя, который видит опасность, но не может ее истерзать.

Стражники обернулись.

Молодой дернулся, рука легла на меч. Старый просто посмотрел на нас. Тяжелым, хищным взглядом, которому все равно, кто стоит перед ним — живой или мертвый. Сегодня он уже насытился свежениной.

— Свалил сука, — сказал он. Не громко. — Или рядом ляжешь.

Я не стал ждать второго предложения. Не стал смотреть в глаза или оценивать шансы. Позвал тихо Стона — за мной, одним движением губ — и побежал.

Мы нырнули в соседний переулок, петляли среди бочек и телег, пока звуки города не слились в привычный гул. Только тогда я остановился, привалившись спиной к облупленной стене. Сердце колотилось. Не от страха. От того, что внутри снова шевельнулось что-то знакомое. То самое, что проснулось на складе. Холодное наблюдение. Оценка угрозы. Расчет пути отступления. Никакой жалости к мертвому крысятнику. Никакого гнева на стражников. Только мысль: «нас засекли, отходим».

Стон сидел у моих ног, тяжело дыша, язык свисал набок. Он смотрел на меня. И в его взгляде был вопрос, который он не мог задать словами: «почему мы убежали? почему мы ничего не сделали?»

Я присел на корточки. Погладил его по голове. Почесал за тем ухом, которое все еще иногда опускалось.

— Потому что не время, малыш, — прошептал я. — Не наше дело. Не сейчас.

Он вздохнул. Прижался мордой к моему колену. Лизнул руку.

— Верь мне мальчик, — еще раз потрепав его по загривку, поднялся. — Скоро.

Мы продолжили путь. Но настроение изменилось. Город больше не казался просто фоном для поисков. Он давил. Каждое окно смотрело подозрительно. Каждая тень могла скрывать копьё. Паркин показывал нам свое настоящее лицо — не жертвы. Соучастника.

На обратном пути, когда солнце уже начало клониться к закату, обагривая крыши в цвет запекшейся крови, мы проходили мимо «Берлоги».

Я не планировал туда заходить, даже приближаться. Но что-то тянуло подойти к знакомому углу. Я остановился на противоположной стороне улицы, в тени навеса, и посмотрел.

Двери были заколочены. Окна — забиты грубыми, неотесанными досками. Гвозди торчали шляпами наружу, ржавые, вбитые второпях. Над входом не было плашки. Вывеску сняли, но в памяти она скрипнула на гнилом ветру. Дом стоял слепым, глухим, мертвым. Словно внутри никогда не горел свет, не лилось вино, не звучал пьяный смех. Как будто Миранды никогда не существовало. Лина... где ты?

Кто-то стер это место с карты города. Не стража. Стража ставит печати и замки. Это сделали свои. Те, кто знал, что произошло. Те, кто хотел, чтобы никто больше не вошел и не увидел того, что осталось на стенах.

У стены, прямо на земле, сидел пацан. Лет десять, может, двенадцать. Худой, с побитыми коленками, торчащими из рваных штанов. Перед ним на тряпке были разложены фигурки. Слепленные из глины и грязи. Грубые, кривые, с неотчетливыми конечностями. «На удачу», как говорят в Нижнем городе. Фигурки смерти, слепленные руками ребенка, который знает о смерти больше, чем многие старики.

Я подошел. Стон остался в тени, наблюдая.

Пацан поднял голову. Глаза — взрослые, острые, цепкие. Он видел мою одежду, мои сапоги, шрам на шее. Он видел все.

— Не знаешь, что произошло? — любопытно спросил я.

— А фигурку купишь? — прищурился взгляд, спросил он.

— Куплю!

Пацан огляделся. Быстро, подозрительно. Убедился, что рядом нет лишних ушей. Потом понизил голос до шепота, который был слышен, только нам двоим.

— Как? Ты не слышал, что ли? — В его тоне не было удивления. — Смерть из склепа ходила. В «Берлоге» ритуал провела. Говорят, там девку к стене прибили, а потом по Верхнему городу трупы валялись. Ходила и просто резала все, что двигалось.

Внутри меня пробил холод. Он схватил мое горло, сжал ледяными пальцами, и пробил голову палкой с гвоздями. «Смерть из склепа». Они называют это ритуалом. Они думают, что это была священная миссия. Они не знают, что это была потеря контроля. Что это была грязь, вырвавшаяся наружу. Что это был я, одержимый чужими голосами.

Но внешне я остался спокоен. Лицо — маска. Голос — ровный.

— И что теперь?

Пацан снова огляделся. Наклонился еще ближе. На его лице проступили черты преждевременного взросления. Запахло глиной и потом.

— Говорят, скоро за склеп возьмутся, — прошептал он. — Не может такое продолжаться. Мертвецы на кладбище не лежат спокойно — воют по ночам.

Я сунул ему медяк. Он схватил монету мгновенно, спрятал в кулак, и исчез. Растворился в сумерках переулка, как будто его хотели отобрать, вместе с жизнью. На брусчатке осталась только тряпка и глиняные фигурки. Маленькие, кривые идола города, который верит в смерть больше, чем в жизнь.

Я стоял и смотрел на заколоченную «Берлогу». Слова пацана эхом отдавались в голове. «Мертвецы воют по ночам». Это не суеверие. Это факт. Город чувствует. Город знает, что равновесие нарушено. Что смерть перестала быть тихой и стала громкой. И город боится. Не культа. Не волков. Того, что культ потерял лицо. Того, что лик смерти стал виден.

Стон подошел. Ткнулся носом в мою руку. Я вздрогнул. Вернулся в реальность.

— Пойдем, — сказал я. — Домой.

Мы шли к склепу, молча. Вечерний Паркин дышал тяжелее. Дым из труб становился гуще. Фонари зажигались один за другим, выхватывая из темноты пятна света, в которых кишели тени. Я чувствовал на себе общие взгляды. Как и взгляд самого города. Подозрительный. Напряженный. Опасный.

Войдя в склеп, кожа почувствовала успокаивающую тишину. Но все равно напоминавшую о том, где ты находишься. Факелы горели ярко. Знакомый прохладный воздух, пахнувший старым камнем и тем, что когда-то жило. После городской вони этот запах казался почти чистым. Родным.

Я прошел в столовую. Стон моросил по пяткам со свисавшим сухим языком.

Зара была там. Она стояла у печи, помешивая что-то в большом котле. Пар поднимался к потолку, оседая каплями на балках. Когда я вошел, она обернулась. Мягко улыбувшись, сказала, не повышая своего командирского голоса как на сестер:

— Граб! Садись! Почти готово, — и глядя на Стона, добавила. — Вижу! Очень голодны!

Она погремела половником и поставила на стол две миски. Одна — с густой похлебкой, от которой шел пар. Вторая — с мясным бульоном и размоченным хлебом для Стона. Зара готовила восхитительно, а главное питательно и сытно.

Я сел. Опустил миску на пол, возле стола. Стон устроился рядом, сразу приступил к еде, чавкая и разбрызгивая бульон. Я ел медленно. Похлебка была горячей, наваристой, но вкус казался далеким, словно вкусовые рецепторы дали сбой. Мысли все еще были там, на улице, у замурованных дверей «Берлоги».

Зара поставила на стол кружку с травяным отваром. Села напротив. Не ела. Просто смотрела на меня своим спокойным, безжалостно-мягким взглядом. Ждала.

Я отложил ложку. Взял кружку. Тепло обожгло пальцы.

— Зара, — сказал я. Голос прозвучал тихо, почти случайно. — Калисия.

Она не вздрогнула. Не отвела глаз. Ее выражение лица не изменилось. Только пальцы, лежавшие на столе, чуть сжались. Едва заметно. Словно она держит что-то хрупкое и боится раздавить.

— Среди сестер такого имени нет, Граб, — сказала она. Голос был ровным. Слишком ровным. Заученная молитва. Или ложь, которую повторяли столько раз, что она стала правдой.

Она поднялась. Поправила платок. Сложила руки перед собой.

— Мне пора на молитву, — добавила она. И вышла.

Шаги стихли быстро. Дверь за ней закрылась без звука.

Я сидел и смотрел на остывающую похлебку. «Среди сестер такого имени нет». Она соврала. Или сказала правду, которая была ложью. Калисии не было среди сестер. Но имя было. Оно жило в этом склепе. Оно дышало в этих стенах. Зара знала. И ее отказ говорить был громким признанием.

Стон закончил есть. Подошел, положил морду мне на колено. Посмотрел снизу вверх.

— Пойдем малыш.

Я погладил его, поднял миски, отнес к раковине. Вымыл. Одну поставил на место, в другую налил воды. Ритуал. Порядок. То, что держит склеп от распада. То, что держит меня.

Мы пошли к себе в комнату. Стон запрыгнул на кровать, свернулся калачиком, заняв свою половину. Я поставил миску и сел рядом. Достал нож. Разул сапоги. Поставил их у кровати. Кинжал вытащил из-за пояса, положил на тумбочку. Он был теплым. Спокойным. Молчащим. Сегодня он не требовал крови. Сегодня он просто был спутником, лежащим на своем месте.

Я лег. Не раздеваясь. Смотрел в стену перед собой. Где-то далеко, в глубине склепа, слышался ритмичный звук. Капли. Или молитва. Или сердцебиение этого подземного мира.

Стон вздохнул во сне. Почащал и положил голову мне на руку. Вот он, настоящий, безгрешный маленький мир.

Я закрыл глаза. Но сон не приходил. Вместо него были образы. Заколоченные двери. Глиняные фигурки. Мутные глаза. Ложь. И решетка. Та самая, с двумя отогнутыми прутьями. Я еще не нашел ее. Но я знал, что найду. Знал, что она ждет, когда я разогну ее до конца.

Глава 20. Вес монеты

Стук в дверь был тихим. Три удара. Мертвого не разбудит, но выгащит из небытия живого.

Я открыл глаза и потряс головой. В комнате было темно. Слабый свет из коридора проникал через щель под дверью, рисуя на полу длинную желтую полоску.

Стон уже не спал. Сидел у изголовья, уши торчком — даже то, которое вечно висело тряпкой, теперь напряженно стояло. Хвост плотно прижат к задней лапе. Он знал, кто пришел. Чувал и не рычал. Для него этот запах был законом.

— Войдите, — хрипло сказал я. Голос после сна звучал как скрежет металла о камень.

Дверь открылась. Варлам стоял на пороге. Черное облачение сливалось с темнотой. Лицо — бледное пятно в полумраке. Он не сразу вошел. Постоял секунду, глядя на меня, на Стона, на кинжал на тумбочке.

Потом вошел. Свет факела из коридора осветил комнату. Шаги были бесшумными, несмотря на возраст. Он подошел к кровати и встал у изножья, как массивный монумент, сложив руки на груди. В руке что-то было.

— Счетовод, — произнес он негромко. Голос низкий, вибрирующий где-то в самой груди.

— Решетка? — ничего не понимая, спросил я, приподнимаясь на локтях. — Нашли решетку?

Я сел. Стон не двинулся. Смотрел на Варлама внимательным, спокойным взглядом.

— Очнись, Граб. Счетовод. Человек, который ведет их бухгалтерию.

Варлам поднял руку. В его длинных, с желтоватыми ногтями пальцах раскрылся свернутый лист. Бумага шуршнула в мертвой тишине комнаты неприятно, как высохшая кожа трупа. Схема. Та самая, что я принес со склада.

Он протянул лист мне.

— Понюхай, — загадочно произнес Варлам. — Чернила.

Я наклонился. Склеп пах сыростью, землей и холодом, но от бумаги тянуло чем-то чужим, незнакомым.

— Город сам оставляет следы, если знаешь, куда смотреть, — продолжил Варлам, и в его голосе зазвенела та самая сталь, которая пугала меня больше любого крика. — Я смотрел на эту схему не как на план. Я смотрел на нее как на вещь. Бумага тонкая, но слишком плотная. Ее привозят, в Паркине такую не делают. Но главное — чернила. Они не выцветают. И пахнут костяной мукой с примесью жира, чтобы не замерзали на зимнем ветру.

Он выдержал паузу. В его глазах, даже в полумраке, я видел довольный, хищный свет. Сосредоточенность хирурга, который нащупывает скальпелем артерию перед тем, как сделать разрез.

— Я посетил нескольких торговцев и писарей. Такую бумагу и эти чернила оптом берет только одно место. Меняльная контора. А за последний месяц, кроме их главного бухгалтера, никто в городе даже не спрашивал об этом товаре. Слишком дорого для простых долговых расписок.

Варлам свернул лист и сунул его обратно в широкий рукав.

— Все сходится, Граб. Он с ними. Других вариантов нет. Меняльная контора в Верхнем городе. Хозяин — один из волков, именно Счетовод ведет их счета. Через него идет связь, через него течет золото. Он — жила. Перережем ее — и стая останется голодной.

Я молчал и слушал. Варлам не давал приказа. Он дал мне ключ от сокровищницы. Мне не нужно объяснять, как наблюдать, как сливаться с тенями, как ждать и как брать то, что по праву принадлежит мне. Смерти. Но сейчас я понимал нечто большее. Это было не чутье

подвалов и не таинства склепа. Это был холодный, безжалостный ум Верховного. Ум, который умел читать врагов по запаху чернил и стоимости бумаги.

— Название конторы — «Вес монеты», — добавил он. — По Восьмой улице. Третий дом от угла.

Он замолчал. Очень подозрительно, с какой-то скрытой осторожностью посмотрел на Стона. Протянул руку. Пес не зарычал. Дал себя коснуться. Варлам погладил его по голове. Медленно. Бережно, как хрусталь, который боялся разбить.

— Отдыхай, мальчик мой, — сказал он тихо. — Завтра начнешь.

— Прости, что среди ночи. Хотел скорее сообщить. Отдыхай.

И вышел. Дверь закрылась без звука, отрезая меня от коридора.

Я остался сидеть в темноте.

Счетовод. Бухгалтер. Жила. Деньги.

В голове пульсирующе тихо щелкало, какой-то сломанный механизм. Это была игра, пра-вила которой мне не рассказали. Не ритуальная смерть во имя Культа, к которым меня гото-вили восемнадцать лет. Это была политика. Это была война ресурсов. Варлам направлял меня не на врагов культа как идеи. Он направлял меня на врагов своей власти. На тех, кто финанси-рует волчью сеть. На тех, кто мог раскрыть тайну склепа не потому, что искал истину, а потому что хотел использовать ее как рычаг, чтобы перевернуть трон и занять на нем место.

Я лег обратно на жесткую постель. Стон придвинулся ближе, уткнулся холодным, мок-рым носом в мое плечо. Тяжело выдохнул, обдавая кожу живым сквозняком.

Счетовод. Человек, который считает чужие деньги. Что ж, посмотрим на тебя, какой ты внутри, когда гаснут фонари.

«Смог бы ты перерезать горло младенцу, меняла?»

Мысль пришла сама. Острая, как края улыбки на моей шее. Сладкая, как поцелуй смерти.

Глаза закрылись. Я провалился в темноту, которая сегодня была не опасностью, а отды-хом. Без снов. Без голосов мертвецов. Только тишина и ровное дыхание пса.

Три дня.

Я был его тенью уже три дня. Не шел направо. Варлам учил терпению. «Смерть не торопится, — говорил он, глядя на огонь свечи. — Она приходит, когда время созревает. Как плод. Как гнойник».

Я наблюдал.

Стон остался в склепе. Зара за ним присмотрит. Тут, в Верхнем городе, пес с ободран-ным ухом и шрамами привлекал бы слишком много внимания. А мне нужно было стать тихой ночью. Тенью, которая умеет дышать в такт с чужим городом.

Верхний город отталкивал своей сытостью и лицемерием. Не пах гнилью, тухлятиной или страхом, пропитавшим каждый булыжник Нижнего. Воздух в нем был чище, а тишина — дороже. Ее покупали за высокие заборы, толстые стены и стражников, которые защитят их набитые кошельки.

Высокомерные засранцы ходили по своим делам. С высоко поднятыми головами. Носи-лись кареты с дамами, за которыми тут же убрали конский навоз.

Контора «Вес монеты» стояла на обозначенном месте, в самом сердце этого сытого мира. Третий дом от угла. Серый, идеально отесанный камень, тяжелые зеленые ставни. Вывеска с изображением весов и горстью монет на чаше покачивалась на ветру, издавая тихий, мерный скрип. Дзынь дзынь Будто песочные часы, отсчитывающие песчинки чужих судеб или чужих долгов.

У центрального входа круглосуточно стояли двое городских стражников. Длинные копыя с блестящими наконечниками, начищенные латы, скучающие, но цепкие глаза. Они охраняли не от воров. Воров в Верхнем городе почти не было — их вешали на площадях. Они охраняли от тех, кто знает, сколько на самом деле весит эта контора.

Счетовод появлялся каждое утро в одно и то же время. Ровно в восемь.

Дверь его дома — особняка с ухоженным садом за высоким кованым забором — открывалась, и он выходил. Толстый, лысеющий мужчина лет пятидесяти. Одет аккуратно, но без кричащей роскоши: темный суконный камзол, безусловно белые крахмальные манжеты, очки в тонкой металлической оправе. Волчьи клыки на манжете я заметил в первый же день.

Жена провожала его до калитки. Целовала в щеку и что-то шептала — обязательный утренний ритуал. Дети махали руками из окна. Картинка. Идеальная, от которой у меня свербело внутри. В Паркине не бывает идеальных картин. Если фасад слишком чистый, значит, дерьмо прячут очень глубоко.

Он шел к конторе быстрым, дерганым шагом. Постоянно оборачивался, каждые несколько шагов поправлял очки указательным пальцем. Толкал их на переносицу. Снова и снова.

Я смотрел на этот жест из теней подворотен, было стойкое ощущение, что он боится. Боится, что мир расплывется, расползется по швам, что цифры на бумагах начнут танцевать, если он не будет держать реальность в жестком, непрерывном фокусе.

Снаружи — успешный человек. Уважаемый купец. Честный меняла, который знает вес каждой монеты и никогда не обманет клиента на медяк.

Но я смотрел на его потеющую лысину, на его дерганые плечи и ждал.

Варлам был прав. Гнойник Счетовода еще не прорвался. Снаружи кожа была розовой и гладкой. Но я уже чувствовал его запах. Сквозь дорогие духи, белый крахмал манжет и скрип латунных весов.

Оставалось только дожждаться ночи. А ночи в Паркине всегда срывают маски.

К вечеру пошел дождь.

Мелкий, холодный, пробирающийся под одежду, чтоб смыть с тебя грязь. Но он не смывал грязь с Паркина, а превращал ее в скользкую, черную жижу, которая набивалась в щели между булыжниками и напоминала, где ты.

Я ждал у черного хода заведения с вывеской «Эммануэль».

Это был не бордель для пьяного отребья и воров из Нижнего, где пахло кислым элем и забродившим пивом. Это было место, где аристократы и купцы оставляли состояния за тяжелыми бархатными шторами. Место, где вдыхали сладкий дым и забывали о своих добродетелях. Воздух у задних дверей тянул приторной сладостью, розовой водой и блевотиной — тем самым запахом элитного разложения, на самом деле ничем не лучше Нижнего. А ночью переулки так же воняли помоями и их мерзостью, они такие же твари, как и в Нижнем, только одеты лучше.

Дверь скрипнула. На улицу, покачиваясь, вывалился Счетовод.

Он не был похож на того нервного, аккуратного мужчину в очках, которого я наблюдал уже три дня. Камзол расстегнут, кружевной воротник сбился набок, на губах блуждала пьяная, блаженная улыбка. Он шел, обнимая пустоту, шепча что-то невидимой спутнице, и не замечал, как дождь стучит по его лысеющей макушке.

Я быстро глянул по сторонам и шагнул из тени.

Движение было быстрым и уверенным, это не Нижний, тут на крик сбегутся незваные гости с копьями на перевес. Схватил его сзади, намертво закрыв рот ладонью, и рывком утащил в узкий, воняющий мочой переулок.

Счетовод опешил от неожиданности. Ноги подкосились мгновенно, он рухнул на колени, сильно ударившись о булыжник. Из-под мышки выскользнула тяжелая кожаная папка. Ударилась о камни, распахнулась, и на мокрую землю высыпалась куча бумаг — отчеты, цифры, чужие судьбы, записанные чернилами из костяной муки.

Он хотел закричать, не вышло, из легких вышел черный дымок. Закряхтел. Дрожал, глядя на меня снизу вверх широко раскрытыми, бегающими во все стороны глазами. Пытался что-то сказать через отходивший дым.

— Я я не хотел — зашептал он, пуская слюни пополам с дождевой водой. — Я все верну
Клянусь

Я молчал. «Смерть не спрашивает, я помню, кто я, Варлам».

Кинжал вышел без звука. Лезвие скользнуло под ребра — точно, глубоко. Прямо в сердце.

Теплая рукоять грела ладонь, как пламя разгорающейся свечи, я был готов.

Начало трясти. Ломать. Невидимый молот стучал по костям. Их трясло, каждую по отдельности.

Желание. Даже смерть меня не остановит, не даст того, что требуется. Мне нужно. Прямо сейчас. Этот голод. Животный, выжигающий нутро, сводящий с ума голод. Тело Счетовода еще корчило на булыжниках, а меня била крупная, содрогающая все тело дрожь. Я хотел так сильно, что готов был размазать башку первому встречному.

В носу зазудело. Нестерпимо. Глубоко, где-то у самого основания черепа, туда запихали горсть сухих, колючих перьев. По венам разливается тошнотворный, вдохновляющий жар. Надо вдохнуть. Пальцы вывернуло в обратные стороны. Сейчас. Быстрее.

Пыль. «Ночная пыль».

Картинка не вспыхнула — она окутала, вытесняя дождь и темный переулочек густым дымом в моих глазах.

Бархатное кресло. Трубка из черного дерева. Дым — густой, сладкий, маслянистый. Он не просто обволакивает мозг, он заменяет его, заставляет сердце биться в ритме барабана. Под удары которого возникает непреодолимое желание.

Он любил «ночную пыль», а пыль любила девочек с кожей как молоко. Но деньги все заработанное он нес домой. Примерный семьянин. Терпел. Пока Волки не стали выделять по двадцать процентов прибыли в общую кассу на войну со склепом. На убой мертвецов.

Вот они: деньги, гниющие без дела, такие нужные.

Он начал брать. На «пыль». Ведь лучшие девочки были в самых дорогих заведениях города. А потом пришел зуд. Ломка. Ледяной страх, что без сладкого дыма он просто рассыплется в прах, а мир расплывется перед глазами.

Поддельная записи, допуская «ошибки», он жрал общую кассу Волков, чтобы на пару часов стать богом.

А потом пришел он. Компаньон.

«Я видел расчеты, — голос твердый, злой. — Я знаю, куда уходят проценты. Завтра я иду к хозяину».

Не страх разоблачения. Страх ломки. Страх, что его отлучат от шелковых простыней и трубки.

Рука сама находит тяжелый бронзовый подсвечник.

Удар. Хруст кости. Кровь брызнула на книгу учета в кожаном переплете, расплываясь по цифрам. Человек упал, дергаясь.

«Я отдам это сам, придурок», — шепчет он трупу, вытирая руки о дорогой ковер.

Ломка гонит его по городу. Виски стучат. Все плывет. Нужно сдать отчет. Спрятать концы.

Резко — сырой подвал.

Свет от узкого окна под самым потолком. На полу — тени от прутьев решетки. Обе преломляются на сыром камне. Два прута отогнуты. Один вверх, другой вниз.

Я слышу его ушами. Нос зудит. Передаю свернутый в трубку отчет кому-то в темном плаще. Руки дрожат, я поднимаю очки, сдираю кожу на носу, расчесывая его до крови.

— Это для Грэма, — двигаются губы.

Грэм.

Я стоял в переулке.

Дождь смывал кровь с булыжников, превращая чернила из костяной муки в серую жижу.

Тело Счетовода лежало неподвижно.

Тряска утихла, кости встали на свои места. Зуд в носу прошел, оставив после себя легкое раздражение слизистой. Ломота отступила, оставила пустым и выжженным.

Я вытер кинжал о его мокрый камзол. Сунул за пояс.

«Грэм».

Теперь у меня была ниточка. Я держал это имя в голове как нож в голенище — на месте, никуда не денется. Короткое, как щелчок засова.

Я посмотрел на рассыпанные бумаги. Цифры, долги, проценты. Вес монеты, который раздавил человека раньше, чем это сделал мой клинок.

Я повернулся и шагнул в темноту переулка, оставляя Счетовода дожидаться утренних крыс. Они не спрашивают вес твоего кошелька, их интересует вес твоего тела.

Обратно я шел через Нижний город.

У реки я даже не остановился. Она была черной, маслянистой и тягучей. Она неумолимо ползла, волоча за собой все грехи Паркина, и ей было плевать на чужие долги, на украденные проценты и на то, кто завтра пойдет ко дну. Река принимала все, что в нее попадало.

Я перешел мост, оставляя за спиной шум дождя и мысли о Счетоводе. Его жене и детям, которые утром не дождутся его. А вскоре, возможно, поплывут под этим самым мостом за чужие грехи. Потому что не вернут ни одного украденного гроша.

Склеп встретил меня привычной тишиной и запахом сырой земли. Которой так не хватало в Верхнем.

Стон ждал у двери.

Завидев меня, бросился с лаем. Подбежал, уткнулся мокрым носом в мою руку, потом в колено. Нюхал долго, внимательно. От меня пахло дождем, дорогими помоями и кровью. А в горле першил сладковатый дым «ночной пыли», которая въелась в мои легкие.

Стон не отшатнулся. Прижался теплым боком к моей ноге и посмотрел снизу вверх. Он был рад, что я вернулся. Что я — это я. Он скучал.

В склепе привычная тишина. Дверь в комнату Варлама заперта. Кабинет тоже.

Я прошел в комнату, сбросил мокрую куртку.

Сел на край кровати. Стон тут же запрыгнул, устраиваясь рядом, положив морду мне на бедро.

Я вынул кинжал, положил на тумбочку. Могильное мертвое железо.

Сунул руку в карман штанов. Пальцы нащупали твердый кружок.

Достал пуговицу. На ладони покоился волк, рвущий пасть. Старый металл, знакомая гравировка.

Положил ее на тумбочку. Рядом с кинжалом.

Там, в тусклом свете огарка, лежало четыре таких же.

Пятая легла к ним с тихим металлическим звоном.

Я посмотрел на них, потом на пса.

— Пятый, Стон. Уже похоже на стаю.

Я стоял и смотрел на них, сглатывая со слюной привкус «пыли».

— Стон. Смог бы счетовод перерезать горло младенцу? Смог бы. Но не восемнадцать лет назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.